

ГРАНИ

GRANI

107

1978

Verlagsort: Frankfurt/Main, Januar-März

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

**к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXII

№ 107

1978 год

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ — О времени и о себе	
Главы из книги	3
Зоя АФАНАСЬЕВА — «Отечество нам — Царское Село».	
Стихи	68
В. ГАВРИЛОВ — Завещание. Рассказ	77
Виктор НЕКИПЕЛОВ — Стихи	97
Муза ПАВЛОВА — Прибежали в избу дети.	
Маленькая пьеса для балагана	102
Ник. ОЛИН — Продается дача. Жил-был колокол.	
Рассказы	116

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

В. РЫБАКОВ — На китайской границе. Рассказы	130
Ада НАЙДЕНОВИЧ — Родная почва	143

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Эммануил РАЙС. Против реалистического романа.	
Часть 1.	150
Е. БРЕЙТБАРТ — Путешествие по времени и по собственной жизни	175

ФИЛОСОФИЯ · ПУБЛИЦИСТИКА

Роман РЕДЛИХ — Православная схоластика	189
Владислав КРАСНОВ — Виктор Карл Маркс фон Франкенштейн, или Генеалогия коммунизма	223
Роман ПЕТРОВ — Коммунизм: реальность и миф	261

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Володин. Дневники Буниных	284
Список книг, поступивших на отзыв	288

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1978 by Possev-Verlag
V. Gorachek K.G., Frankfurt am Main
Издательство «Посев»

Григорий ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Происхождение

Я родился в 1926 году, то есть принадлежу к поколению, уже не заставшему ни дореволюционной жизни, ни революционного энтузиазма первых лет, чье сознание формировалось в самые страшные годы сталинизма, чью наступающую юность перешибла война; и которое встретило неожиданную хрущевскую «оттепель» хотя и сложившимися, но еще молодыми людьми, способными на значительную внутреннюю перестройку. Не берусь судить, насколько типичной для этого поколения была именно моя судьба и эволюция, — но, конечно, родился я тремя годами раньше или позже, они были бы во многом иными. Те же исторические события — а в наш век биографии неотделимы от вторгающихся в них исторических событий — пересекли бы мою жизнь в другом возрасте и подействовали на нее с иной силой и в ином направлении — не берусь опять же решать, в каком.

По национальности я русский, хотя и с близкой к половине примесью различных западноевропейских кровей. Моя бабушка по отцу, Варвара Андреевна, урожденная Шмидт, была немкой — правда, поволжской, а не германской. За четвертью немецкой крови следует одна восьмая французской и шестнадцатая

Главы из книги: Григорий Подъяпольский. О времени и о себе. Автобиографические записки. Выходит в изд-ве «Посев».

шведской; фамилия же моя безусловно польского происхождения и связана с городом Ямполем. От тех, кто жил в самом Ямполе, пошли Ямпольские (встречающаяся более часто фамилия), а от живших или имевших поместье вблизи Ямполья (под Ямполем) — Подъямпольские. Но «м» редуцировалось достаточно давно, так что самый древний из моих пращуров по отцовской линии, известных мне, был уже Подъяпольский (без «м»), вполне русский помещик Саратовской губернии. Во время Отечественной войны 1812 года он был ротмистром, и под его непосредственным начальством служила известная девица-кавалерист Надежда Дурова. Его фамилия упоминается в ее мемуарах (которые я, к стыду своему, не читал). Еще о нем известно, что он обладал крутым нравом и ходил по Саратову с палкой, которой порой поколачивал прохожих, не проявлявших к нему, по его мнению, должной почтительности. Эти любопытные сведения я почерпнул из столетнего юбилейного сборника, посвященного участию Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года.

Мое социальное происхождение еще смешанней моего национального. Выше, хотя и относительно богатых, но всё же нетитулованных помещиков Подъяпольских был мой прапрадед по чисто женской линии, барон Тизенхаузен, тоже участник и, видимо, более известный, наполеоновских войн; имя его мне встречалось в более общих трудах, чем губернское исследование или личные записки Надежды Дуровой. По бабушкиному рассказу, его военная карьера окончилась следующим образом: на фрунтовом смотре новый царь Николай I сделал ему выговор за невоенную походку — он прихрамывал после раны, полученной то ли при Бородине, то ли под Лейпцигом, то ли при каком-то еще из знаменитых наполеоновских сражений. Он оскорбился и подал в отставку, после чего бедствовал (он имел титул, но без поместий) и

кончил жизнь управляющим чьего-то чужого поместья. Его баронский род за неимением потомков мужского пола пресекся, а дочь вообще утратила дворянство, выйдя замуж за купца Вешнякова. Подтрунивая над бабушкой, дедушка Григорий Федорович иногда приписывал ей прямое происхождение от шведского короля Густава Вазы. Но, кажется, эта шутка не имела серьезного основания, так что более высокой кровью, чем баронская, я похвастаться не могу. Более вероятно, чем с королями, мое родство с Лениным — через фамилию Бланк, к которой принадлежала его мать и моя прабабка по линии Подъяпольских. Но и здесь нет полной уверенности, так как нетвердо установлены некоторые промежуточные звенья.

Кроме дворянства, в мою родословную входят почти все низшие сословия бывшей Российской империи — за проблематическим исключением, пожалуй, духовенства: купцы, мещане, мастеровые, русские крестьяне и немецкие бауэры. Впрочем, все это относится к отдаленному прошлому, а в сущности я, по крайней мере в третьем поколении, принадлежу к тому специфическому переплаву любых сословий и классов, который называется интеллигенцией. И самыми крупными и интересными людьми из моих предков были оба моих деда, вышедшие в интеллигенцию один из дворян, а другой, как тогда говорили, «из низов».

Мой дворянский дед по отцу, Петр Павлович Подъяпольский, был известным в свое время врачом-психиатром и гипнологом, профессором Саратовского университета и автором ряда статей и брошюр — как по своей основной специальности (клиническое применение гипноза), так и по более широким вопросам вообще естествознания. Кроме того, сохранилась его обширная переписка с крупнейшими биологами его времени, высоко оценивавшими его эрудицию и научную проницательность. Из его корреспондентов упо-

мяну Ивана Петровича Павлова и Николая Ивановича Вавилова. В одной из недавних вышедших книг о Вавилове (С. Резник. Николай Вавилов. М., 1968) широко использованы материалы этой переписки; в связи с ней много говорится и о Петре Павловиче как человеке и ученом.

К сожалению, он принадлежал к людям, много давшим современникам, но непропорционально мало оставившим в наследство потомкам. Он установил наличие хлорофила в зеленых лягушках, умел проделывать такие удивительные штуки как вызывание внушением ожогов с волдырями, излечивал от бессонницы письмом из другого города, установил ряд научно наблюденных фактов в таинственной области человеческой психики — но не оставил капитального труда, подводящего итог его многолетней деятельности. Его научное наследие отчасти рассеяно по малодоступным изданиям, отчасти не опубликовано и поныне. В оправдание его скажу, что прежде всего он все-таки был врачом, а врачу слишком много приходится вкладывать в самый недолговечный из материалов — смертного, а вдобавок уже и больного, человека.

Петр Павлович умер в 1930 году, и в моей памяти сохранилось единственное, связанное с ним, изолированное воспоминание. Картина в памяти изображает прогулку по берегу реки — видимо, в Саратове по берегу Волги — в компании каких-то людей, среди которых мама и Петр Павлович. После тяжелых, едва не стоивших ей жизни родов, в результате которых появился на свет я, мама действительно ездила со мной из Ташкента в Саратов рожать моего брата под облегчающим влиянием петропавловичевского гипноза (роды действительно прошли удивительно легко, но о самой процедуре гипноза у мамы на всю жизнь осталось весьма тягостное впечатление). Кажется (сейчас это трудно установить), позже мы в Саратове не были, а если так, то мне было тогда около двух

лет, и это вообще самое раннее из моих воспоминаний. Что оно действительно чрезвычайно раннее, сужу по тому, что запомнилась прочно река, без волжской ширины, и что пролетел самолет, который показался мне таким маленьким и близким, что я хотел поймать его рукой, да только не успел. Таким образом, в воспоминании явно отсутствует восприятие глубины пространства, а самолет был ярким впечатлением, врезавшим картинку в память на всю жизнь. Петра Павловича как образ не помню совсем, но факт его присутствия — совершенно твердо.

Мой плебейский дед по матери, Григорий Федорович Ярцев (в его память я и был назван, а в угоду бабушке даже окрещен), был сыном московского пьяницы-мастерового и выбился в люди и в интеллигенцию отчасти благодаря собственным талантам, отчасти благодаря своей матери, неграмотной, но умной и твердой женщине, поставившей целью своей жизни дать детям высшее образование и сумевшей, несмотря на раннее вдовство и материальные трудности, этого добиться. Подрабатывая репетиторством — в частности, его учеником был и Петр Павлович, откуда и началось их знакомство, — Григорий Федорович окончил естественно-исторический факультет Московского университета, что дало ему впоследствии место лесничего в Крыму. Но по научной линии не пошел, а по склонностям и способностям сделался художником-пейзажистом и архитектором. В Крым он переехал после женитьбы — по совету врачей, определивших у бабушки (видимо, ошибочно) туберкулез. Его дом в Ялте, построенный по его проекту и сохранившийся до сих пор, сделался одним из центров либеральной интеллигенции, оседавшей в те годы в Крыму. Там бывал Чехов, певал Шаляпин и подолгу проживал Горький — последнее обстоятельство ныне увековечено установленной на доме мемориальной доской. Не будучи столь великим человеком, дедушка,

видимо, обладал многими ценными качествами, делавшими его душой общества. Он был деятельным, доброжелателен к людям, любил пошутить и посмеяться, и ему было одинаково чуждо кичиться как перед низшими — достигнутым в обществе положением, — так и перед равными — трудностями, которые ему для этого пришлось преодолеть.

Дедушка был членом кадетской партии и даже баллотировался в какую-то из дум. Очень сомневаюсь, чтобы в его кадетстве фигурировала серьезно разработанная политическая платформа, скорее просто его мягкой душе не импонировали ни неограниченное самодержавие, ни яростная уозость более революционных партий. Мама запомнила на всю жизнь вырвавшиеся у него однажды горькие слова: «Мне нечего завещать моим детям, кроме ненависти к существующему в нашей стране строю».

То ли за вскрывшиеся политические грехи во время революции 1905 года, то ли просто в связи с наступившей реакцией, приказом ялтинского генерал-губернатора Григорий Федорович был выслан из Крыма в 24-часовой (или, может быть, в 72-х часовой) срок. Этот акт произвола оголтелого царизма, очень тяжелый тогда для ярцевского семейства, способен в наше время вызвать только улыбку — ибо выехать он мог свободно на все четыре стороны, включая обе столицы. Он выбрал Москву, с которой сохранились некоторые исконные связи. В Москве ярцевское семейство и пережило относительно благополучно тяжелые годы первой мировой войны, революции и разрухи. Сам Григорий Федорович умер в 1919 году — от припадка грудной жабы, как мне говорили в детстве, и я представлял себе страшную черную жабу, сидящую у него на груди. Теперь сказали бы «инфаркт», не вызывая никаких ассоциаций. А еще в детстве мне казалось, что семь лет между его смертью и моим рождением — невероятно долгий срок, да и сейчас, зная по опыту

и понимая умом, как это немного, не могу отделаться от этого детского впечатления.

Конечно, память о дедушке была еще очень жива в его семействе в годы моего детства, и его образ, встающий из многочисленных рассказов и упоминаний, для меня до сих пор живее и ближе, чем образы многих людей, с которыми меня и даже близко сталкивала судьба. Дополняет рассказы прекрасная фотография, поныне стоящая на полке в моей квартире, и живая частица его души — этюды маслом и акварелью, — украшающие ее стены. Как художник он был бесхитростный реалист, примыкавший к передвижникам. Главным его учителем в живописи был Киселев. Когда-то Коровин отсоветовал ему бросить ради живописи университет — и он всю жизнь сожалел, что послушался этого совета.

Он был естественно и принципиально чужд всем мятущимся исканиям двадцатого века, и его отношение к любым модернам ярко иллюстрируется следующим анекдотом: перелистав однажды на прилавке некий футуристический сборник и добравшись до последней страницы, где стояла надпись: «цена такая-то», — он сказал: «Вот ведь, когда дело касается кровного интереса, и они, оказывается, предпочитают говорить по-человечески».

Более крупные его полотна разбросаны по многим музеям и картинным галереям, в том числе и заграничным.

Мой отец, Сергей Петрович, единственный среди многочисленных дочерей сын Петра Павловича, был по профессии агрономом-селекционером, и место моего рождения — Ташкент — связано с его работой на Ташкентской селекционной станции по хлопчатнику. Эта станция, наряду со многими другими, разбросанными по всему Союзу, была детищем замечательного ученого и организатора Николая Ивановича Вавилова, имя которого я уже имел случай упомянуть, а

большие научные открытия и трагическая судьба которого сейчас стали слишком хорошо известны, чтобы о них рассказывать. Впрочем, то обстоятельство, что он был заморен голодом в Саратовской тюрьме, кажется, еще не заслужило упоминания в нашей, не боящейся правды, открытой печати.

В книгах о Вавилове, вышедших в хрущевское время, я наткнулся на некоторые эпизоды, с детства знакомые мне по маминым рассказам. Например, тот поразивший мое детское воображение случай, когда он после поездки в Афганистан провалился на переходе между вагонами и, не в силах выбраться, провисел на буфере длинный среднеазиатский перегон. Другой запомнившийся мне с детства рассказ — как он во время лекции, которую читал для сотрудников селекционной станции, вдруг закричал звонким мальчишеским голосом, указывая на закачавшуюся люстру: «Землетрясение, смотрите, землетрясение» — мне никогда не встречался, может быть, из-за его малозначительности. Но в нем тоже есть какая-то маленькая черточка, характеризующая этого замечательного человека, и я рад поводу его привести.

О Ташкенте у меня осталось в памяти общее впечатление света и солнца, а также несколько разрозненных, не связанных хронологической последовательностью эпизодов: как я разбил подбородок, и как один знакомый узбек в шутку дарил мне лохматого живого барана, приговаривая: «Гриша, бери баран! Тащи баран!» — а я в страхе прятался за мамину юбку. Когда тридцать лет спустя мне довелось на несколько дней попасть в Ташкент, я специально съездил на всё еще существующую на том же месте селекционную станцию, и с каким-то удивительным, ни с чем несравнимым чувством вдруг узнал сохранившуюся в подсознательной памяти картину — бугор, где когда-то стоял наш, теперь уже замененный другими, дом, излучину стремительного Бо-Су и круто поднимаю-

щиеся террасы заливных полей на противоположном берегу.

Разрыв между отцом и мамой, положивший конец нашей ташкентской жизни, произошел, когда мне было три с половиной года, а брату — около двух. После тяжелой семейной сцены мама, ухватив нас обоих, ринулась в Москву, к бабушке, а отец на долгие годы вообще ушел из моей жизни. Все эти годы он проживал далеко от Москвы — специфика тех лет требует уточнения: не по причине репрессий, а просто так сложилась его естественная, по сию сторону колючей проволоки, судьба. Наше знакомство возобновилось (может быть, правильное — состоялось) во время войны, и с тех пор какие-то отношения поддерживались до его смерти в 1965 году. Но близости между нами не получилось, мы оба старательно избегали острых углов, говорили на отвлеченные темы, он рассказывал о Вавилоне, о Лысенко — с обоими он был лично довольно близко знаком. На мое формирование никакого влияния он, естественно, не имел.

Тогда, в Ташкенте, я был еще очень мал, но кое-что, видимо, наблюдал, и какие-то заключения копошились в моей детской головенке. По маминому рассказу, на вопрос, что мне купить на день рождения (мне исполнялось три года), я вдруг огорошил ее, выдав: «Мне ничего не надо, а купи мне другого папу. Наш стал совсем плохой». Но сам я не помню этого эпизода, как и вообще никаких переживаний, связанных с семейной трагедией моего детства. И роясь сейчас с пристрастием в своей памяти, я не нахожу в ней следов каких-либо модных ныне комплексов — безотцовства или чего-либо в этом роде. Сознательное детство с хронологически последовательной памятью у меня началось с приезда в Москву — и в это детство безотцовство вошло как исконное и поэтому естественное состояние. Детям — а возможно, и людям вообще — свойственно просто и безусловно при-

нимать окружающий привычный мир: семью с ее сложившимся укладом и личными взаимоотношениями, социальную группу с ее эталонами поведения и системой ценностей, общество с его иерархической структурой и совокупностью стандартных понятий — и только на очень высокой ступени развития критического сознания начинает подозреваться специфичность, историческая обусловленность и историческая ограниченность этого мира. Для мамы разрыв с отцом остался травмой на всю жизнь, что косвенно, может быть, и отразилось на нас с братом, — но я, а тем более брат, были слишком малы, чтобы почувствовать травму самим.

Итак, с трехлетнего возраста я помню себя в Москве, где вместе с братом растился и воспитывался мамой, бабушкой и незамужней тетей Наташей, если не заменившей нам отца, то ставшей для нас почти второй матерью.

Хранителем наиболее старинных консервативных традиций была, естественно, бабушка Анна Владимировна, происходившая из сурового, с крепкой патриархальной закваской, процветавшего с восемнадцатого века купеческого дома Вешняковых. Ее рассказы о своем детстве произвольно носили несколько мрачный колорит, отдающий темным царством и Домостроем. Об интимной близости между родителями и детьми, присущей нашему времени, не было и помину. Обращались официально: «Вы, папенька», «Вы, маменька», и слушались беспрекословно папеньки и маменьки вплоть до великовозрастности, представляющейся в наше время совершенно непостижимой. При сем надо учесть, что поколение ее отца уже принадлежало к просвещенному купечеству. Ее дядя, Николай Петрович Вешняков, был автором книги «Сведения о купеческом роде Вешняковых», где историко-архивные изыскания на серьезном, для своего времени, уровне перемежаются яркими и талантлив-

выми зарисовками купеческого быта по собственным воспоминаниям безусловно умного и широко образованного человека. Наконец, суровый купеческий уклад, видимо, отчасти смягчался дворянским влиянием ее матери, урожденной Тизенхаузен. Бабушка получила чисто домашнее воспитание, вершиной которого явился французский язык, но, конечно, многое приобрела дополнительно, общаясь с самыми культурными и интересными людьми в качестве хозяйки широко открытого ярцевского дома.

Как я теперь могу оценить, в бабушке было много самобытности и душевной твердости. Ее выход замуж за голоштанника Гришку Ярцева явился в свое время бунтом и семейным скандалом, который она стойко выдержала, пойдя на разрыв с родителями, хотя дело дошло если не до отцовского проклятия, то до лишения доли в наследстве. Вплоть до паралича, уложившего ее в 1937 году в постель, а двумя годами позже в могилу, бабушка властной рукой вела наше домашнее хозяйство, твердо придерживаясь правил, конечно, приспособленных к послереволюционным бытовым условиям, но уходящих корнями в давние традиции ярцевского, а может быть в чем-то и вешняковского, дома.

Бабушка была религиозна, изредка посещала церковь и порой любила порассуждать с подвернувшимися старушками о том, что вот-де любая травинка на поле и всякая мушка столь премудро устроены, что невозможно объяснить без всемогущего Творца. Но религиозность она не сумела передать даже своим детям, усвоившим мягкий, с оттенком добродушного юмора, но всё же решительный религиозный скептицизм Григория Федоровича. Тайком от мамы и тети она пыталась пробудить религиозные начала и в нас с братом, но то ли из-за отсутствия педагогического таланта, то ли из-за противодействующего влияния эпохи, успеха не добились. Из ее уроков я вынес только

механически заученную молитву «Отче наш» и умение перекреститься — без следа чего-либо смахивающего на религиозное чувство; брат, думаю, усвоил и того меньше.

Тетя Наташа, вторая из пяти сестер, была по натуре более христианкой, чем верующая бабушка. Не имея своей семьи, она всю жизнь вложила в других людей — львиная доля пришлось на нас с братом. Ее неисчерпаемая доброта, которой все, кому не лень, пользовались, не исключала, однако — опять же чисто христианских — твердости и даже некоторой суровости. Могла она и вспылить, страстно и несправедливо, но всегда почему-то удивительно необидно. Религиозных тем, боясь оскорбить бабушку, она обычно не касалась, а для себя предпочла стоицизм Сенеки и Марка Аврелия. Ее любимейшими изречениями были: «Все пережив — побеждаешь» и «мут ферлорен — алес ферлорен», и если чего-нибудь она не могла простить людям, то прежде всего отсутствия этого самого христианского «мута».

По специальности она была, как и мама, химиком-органиком, отличалась удивительным усердием и работоспособностью, но, как и в жизни, всегда работала на других: профессора Шарпинака, профессора Беркенгейма, профессора Родионова и многих еще, имена которых я теперь уже не упомяну. Она так и осталась научным сотрудником без степени, и гораздо менее работающая, но лучше умеющая поставить себя мама опередила ее (как, видимо, и меня), защитив вскоре после войны кандидатскую диссертацию на тему «окисление бутадииена».

Но, конечно, главная роль в моем воспитании и формировании принадлежала маме. Она была пятой по счету сестрой и названа в честь бабушки Анной — но дома, для отличия от бабушки, прозывалась Асей. Она родилась в Ялте в 1894 году, и ее детство еще захватило лучшую крымскую пору ярцевского дома.

Ее юное становление пришлось на пору бурных идейных метаний последних предреволюционных лет, и эпоха революционных потрясений отразилась на ней разносторонней и глубже, чем на старшей ее на десять лет тете Наташе.

У мамы был один дар, горький, как и всякий дар Божий: всё, что она когда-либо видела, слышала или чувствовала, она помнила со всеми подробностями всю жизнь и не властна была забыть. Много позже она как-то призналась мне, что этот дар вечно отравлял ей отношения с людьми, потому что любого человека она всегда воспринимала только вместе со всем, что он когда-либо сказал и сделал, — а кому из нас не доводилось совершать или ляпать глупостей или мерзостей?

Но этот дар делал ее замечательной рассказчицей, и трудно переоценить, как много это дало нам, ее детям. Благодаря ее рассказам, многие куски ее жизни — детство в светлой Ялте, грозовой август четырнадцатого года, голодная и холодная Москва эпохи палых паровозов и шарахнутых врасяг лошадей — встают сейчас перед моими глазами почти с такой же яркостью, как если бы я пережил их сам.

В первые годы после революции мама работала в известном издательстве Сабашниковых и по совместительству исполняла обязанности технического секретаря собиравшейся по вечерам в том же помещении писательской организации — зародыша будущего Союза писателей. Основная ее функция в этом качестве состояла в распределении между писателями столь ценных в те годы продуктовых пайков, что позволило ей наблюдать писательскую среду в своеобразном ракурсе — в момент проявления особенно сильных, но не особенно возвышенных страстей. Ее исполненные юмора воспоминания об этом времени навсегда привили мне непочтительное отношение к писательской братии —

а сколько было других подспудных влияний, наличия которых я даже не осознаю.

О своем духовном развитии она рассказывала гораздо более скупо. Только в самом конце ее жизни я узнал о ее мимолетном, перед революцией, пребывании в кадетской партии — очевидно, по стопам Григория Федоровича, и вряд ли особенно сознательном. Самое любопытное в этом факте, по-моему, то, что о своем кадетском прошлом, она, блюдя чистоту наших анкет, скрывала от нас, детей, вплоть до либеральных хрущевских времен. Но политическая психология ярцевского семейства — тема следующей главы, и я сейчас не буду останавливаться на этом факте.

Из многообразных предреволюционных идейных веяний маму более всего коснулось, пожалуй, народничество в толстовской модификации — типичный для либеральной интеллигенции тех лет комплекс неполноценности, вины перед народом и преклонения перед физическим, в первую очередь крестьянским, трудом. По ее словам, излечил ее от этих настроений голодный девятнадцатый год, выбросивший ярцевское семейство на несколько месяцев в деревню и заставивший испытать благословение крестьянского труда на собственном горбе. Мне представляется, что такая эволюция была довольно типичной: попираемая и презираемая интеллигенция убедилась на массовом опыте, что при нужде способна и вспахать поле, и подоить корову — и возымела большее относительное уважение к своим более специальным и трудно осваиваемым профессиям и, соответственно, к своему социальному статусу.

Каких-либо серьезных религиозно-философских увлечений у мамы, по-моему, не было, и вообще в ее мировоззрении мне трудно выделить какую-либо яркую определяющую линию, как у бабушки или тети Наташи. Возможно, это объясняется тем, что ее мировоззрение вырабатывалось в более бурные годы, скорее способствующие потрясению основ, чем их утвер-

ждению. Она с большей отчетливостью ощущала сложность мира и его неукладываемость в рациональные схемы — и предпочитала от них воздерживаться. Вероятно, я в какой-то степени унаследовал (или перенял) от нее этот скептицизм.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ Г. С. ПОДЪЯПОЛЬСКОГО

Григорий Сергеевич Подъяпольский родился 22 октября 1926 года в Ташкенте. В 1949 году он окончил Московский Нефтяной институт и после работал инженером-геофизиком в разных районах страны. С 1953 года занимался теоретическими изысканиями в Институте физики Земли. Ряд его научных работ был опубликован за границей по-английски.

Г. С. Подъяпольский уже с 1965 года стал активным участником правозащитного движения: был членом Инициативной группы и Сахаровского комитета прав человека. За это он подвергся преследованиям, был лишен возможности защитить научную диссертацию (1969 г.) и уволен из Института физики Земли (1970 г.).

Человек необычайной доброты и душевной щедрости, настоящий русский интеллигент (друзья шутили, что сказывается его дворянское происхождение), Григорий Сергеевич был одновременно и мягким и негибким человеком. Недаром он был «главным примирителем» в напряженно-нервной среде московских сопротивленцев.

Скончался Г. С. Подъяпольский скоропостижно — в результате сердечного припадка 8 марта 1976 года.

Политическое воспитание

До сих пор ярко помню первый в моей жизни урок политграмоты. Мне было тогда около пяти лет, а моему учителю, соседскому мальчику по даче, куда мы только что приехали на лето, года на два поболее. Уроком и началось наше знакомство — видимо, не очень близкое, так как ничего другого о нем не запомнилось, кроме редкого имени Даня (Даниил).

— Я — Сталин, — представился он с решительным видом. — Говори, по какой ты армии, по белой или по красной?

— По белой, — брякнул я первое, что пришло на ум, или, может быть, фантастическая картина белых солдат на белых лошадях пленила мое эстетическое воображение. Ручаюсь, что у меня в тот момент не было никакого подозрения о политической символике цветов, и имя «Сталин» мне ничего не говорило.

Тут он набросился на меня и добросовестно отдубасил, а когда я отревелся, приступил снова:

— Я — царь. По какой ты армии; по белой или по красной?

— По красной, по красной, — завопил я уже с явно политической целью избежать новой взбучки, но еще недостаточно подкованный, чтобы уразуметь в перевоплощении из Сталина в царя роковой подвох. И царь отделал меня за красную армию с таким же удовольствием, как Сталин за белую.

Вспоминая сейчас этот забавный и характерный для тех времен детский эпизод, не могу не воздать хвалы моему первому учителю. Впоследствии я получил множество уроков политграмоты — но ни один из них не был столь наглядным и столь объективным. А столь высокой подспудной морали — что заработать

тумаки можно и за белую, и за красную армию, но перебежчик получает вдвое — в них и подавно не содержалось.

Но я рассказал сейчас об этом эпизоде не для того, чтобы выводить мораль или характеризовать эпоху, а чтобы показать аполитичность моего домашнего воспитания. Дожить до пяти лет и ничего не знать о Белой и Красной армиях! О Сталине!! — для тех времен, даже учитывая, что Сталин не был еще отцом всех народов и корифеем всех наук, а всего лишь генеральным секретарем ЦК ВКП(б), это было из ряда вон выходящим невежеством.

Надо думать, я ощутил тогда свое невежество, обратился с вопросами к маме или бабушке и получил какие-то разъяснения — в том, как запомнился этот эпизод, чувствуется несомненное их влияние. Но сами разъяснения начисто изгладились из моей памяти, видимо, по яркости они далеко уступали уроку.

Мое политическое невежество проявилось и позже, при приеме в школу в 1934 году. То был последний, кажется, год, когда прием сопровождался выборочным педологическим собеседованием (каюсь, в чем состояла сущность педологии, я сейчас ведаю не более, чем тогда). К следующему сезону педология оказалась вредной буржуазной лженаукой и перестала существовать.

На собеседовании я блеснул общим развитием: знал без запинки таблицу умножения, назвал столицы некоторых государств, бегло прочитал предложенный текст и отбарабанил наизусть длинное стихотворение про Амундсена. Но на политике явно срезался. Правда, на вопрос: «А кто такой — Ленин?», с грехом пополам выдавил: «Это такой коммунист», но на естественный следующий — «А что такое коммунист?» — был вынужден честно признаться, что не знаю. Две строгие интеллигентные дамы, проводившие собеседование, понимающе переглянулись и переменили тему.

Размышляя сейчас над аполитичностью моего домашнего воспитания, я все же не вижу в нем нарочитой сознательной линии. У ярцевского семейства моего детства — может быть, из-за отсутствия взрослого мужского начала — в сущности не было чего-либо, заслуживающего наименования политической концепции или философии. Просто политических вопросов старались избегать вообще — что, естественно, распространялось и на воспитание.

Но избегать можно, а избежать в наш век нельзя, и отсутствие концепции не означает отсутствия отдельных мыслей и общего настроения. На уровне настроений крайнее оппозиционное крыло в ярцевском семействе занимала, безусловно, бабушка, осуждавшая советскую власть в первую очередь за воинствующее безбожие. Оппозиция ее в основном выражалась в том, что она никогда не говорила «советская власть» или «правительство», а всегда только «большевики», причем произносились «большевики» с недвусмысленно ядовитой интонацией. Впрочем, объективно отмечала, что Бог, видимо, любит безбожных большевиков, так как всякий раз посылает на их праздники (1 мая и 7 ноября) хорошую погоду.

С моим поступлением в школу связан еще один навсегда запомнившийся эпизод — думаю, о бабушке и духе времени он скажет больше, чем десять страниц общих рассуждений. Накануне торжественного дня бабушка тайком от мамы и тети Наташи провела со мной наставительную беседу на тему: что мне отвечать, если в школе спросят, верю ли я в Бога. Если спросит кто-нибудь из мальчишек, то следовало сказать «да отвяжись ты» и отойти, если же учитель — то покривить душой и заявить, что нет. Советы эти поразили меня чрезвычайно — почему, конечно, и запомнились: как бабушка, которая всегда учила меня быть правдивым, — вдруг советует лгать! Бабушка, которая всегда учила меня быть вежливым, — вдруг

советует ни с того ни с сего грубить какому-то мальчику, может быть, спрашивающему по простоте, без всякой задней мысли. И сама конфиденциальная таинственность этой беседы была необычайной. И религиозность мою бабушка явно переоценила: что я не верю в Бога, я спокойно мог ответить и мальчику, и учителю, не кривя особенно душой. Добавлю к тому, что бабушкины советы так и остались втуне — ни в первый день, ни после, ни мальчики, ни учителя моей верой в Бога ни разу не поинтересовались. Таким образом, бабушка проявила полагающуюся бабушкам тех времен отсталость от быстро шагающего века. Может быть, такие вопросы и задавались в школах во времена яростных антирелигиозных кампаний двадцатых годов — в тридцать четвертом они уже представлялись анахронизмом.

Ядро семейства: мама и тетя Наташа (я не буду разделять их позицию как в, общих чертах, сходную) было настроено более умеренно, но и их умеренность зиждилась прежде всего на безусловной и глубочайшей отчужденности. Словечка «большевики» в бабушкином контексте ни мама, ни тетя Наташа не употребляли, но оно прекрасно определяло бы и их отношение: большевики — они, другие — не мы, ничего общего с ними не имеющие. И — не знаю, исконно ли, то есть от самой ли революции, но в начале тридцатых годов уже вполне четко: не народ, не захватившие власть массы, а особая сторонняя сила, партия, власть, государство, организация. Это — не обсуждалось, не утверждалось, не оконцепчивалось, это была простая очевидность, служившая фоном для любых высказываний и суждений по конкретным поводам.

А в суждениях старались быть непредвзятыми, без презумпции: «раз от них, значит плохо», объективно отмечая: то-то хорошо, то-то плохо — конечно, по своей, традиционной, ярцевской, до нас сложившейся и тоже не обсуждаемой шкале оценок.

Ни от кого из домашних, включая бабушку, я не помню ни осуждения революции как таковой, ни сожаления о дореволюционных временах, как лучших. Наоборот, и мама, и тетя Наташа старательно отмечали черты положительных изменений: да, стерлось различие между черной и белой костью. Да, безусловно повысился средний культурный уровень всего народа. Да, не увидишь теперь таких жутких фабричных окраин, где пахнет мочой и блевотиной, и пьяные валяются около каждой тумбы.

Но, конечно, отдельные явления, отдельные «их» действия критиковались и осуждались — по мелочам открыто, по-серьезному старались втайне от нас, детей. Но слишком тесно, слишком неизолированно из-за тесноты жили, чтобы тайны, даже еще не понимаемые, не подслушивались. И что-то по кусочкам западало — и о варварских методах коллективизации, и о примитивизме доктрины, и об искажениях исторической правды, и о первых подозрительных открытых процессах. Обо всем этом избегалось говорить, и, неизбежно, говорилось.

А избегалось говорить по причине, которую, наверное, излишне называть: привычный, укоренившийся, почти уже рефлекторный страх — и еще не определяемый как таковой, еще до понимания его истоков он входил в податливую детскую душу как естественный и неотъемлемый элемент мироощущения. И только отдельные чересчур резкие случаи его проявления, вроде пресловутой бабушкиной беседы, как-то фиксировались на сознательном уровне. Как фактор политического воспитания страх имел, вероятно, большее значение, чем откровенно политические разговоры.

Интеллигентская аполитичность не есть, конечно, прямое следствие одного только страха, а возникает в результате взаимодействия между страхом и тоже привычной, тоже почти рефлекторной честностью. Если честность не позволяет повторять ложь, а страх

— ей противоречить, то остается аполитично молчать — такова голая схема этого взаимодействия. Судьба ярцевского семейства была вполне типичной для переживших революцию интеллигентных семей. Оно было осколком, остатком, отростком распавшегося ярцевского дома, некогда бывшего культурным центром и игравшего какую-то общественную роль — или, по крайней мере, имевшего иллюзию такой роли. Семейство несло в себе наследие дома — ту же честность, например, — но сузилось, сжалось, в чем-то деградировало, приспособляясь к новым, трудным, неблагоприятным условиям существования. Страх был защитной реакцией, выработанной уже семейством.

Впоследствии в других интеллигентных семьях я встретился с четко сформулированной теорией, которую окрестил для себя теорией катакомб. Суть ее в том, что историческая задача интеллигенции в эпоху коммунистического варварства — выжить, чтобы донести свои духовные ценности до лучших времен и будущих поколений, вроде как бы сохранить в катакомбах светильники своей тайной мудрости. Теория эта имеет достаточно давнюю традицию: судя по литературе, еще только предчувствуя грядущую революцию, интеллигенция уже психологически подготовила себя к катакомбам. И в реальных основаниях отказать ей тоже нельзя — чересчур ярко проглядывает в ней вышеупомянутое взаимодействие между честностью и страхом. Есть, однако, несколько каверзных для нее вопросов, на которые я не нашел ответа ни сам, ни у кого-либо из ее сторонников. Что это за лучшие времена и с какой стати они вдруг наступят, пока мы будем сидеть в катакомбах? И можно ли запасти в катакомбах такую уйму топлива, чтобы хватило на светильники аж до лучших времен?

Как я уже говорил, в ярцевском семействе моего детства я не столкнулся с явно сформулированными теориями — в том числе и с этой. Сжатость, разрыв

преимущества, отказ от прошлого в силу некоторых конкретных обстоятельств оказались у него глубже, чем у многих других знакомых мне семейств. Но что-то от катакомбных настроений проявлялось и в нем. Какой-то свой светильник пытались сохранить, какой-то оболочкой — не зародыш ли это катакомб? — его укрыть; берегли воспоминания, берегли старые знакомства. А порой сквозь сжатость, отказ, самоотвержение вдруг проскальзывало чуть заметное высокомерие, тайная гордость обладателей и хранителей тайного светильника...

Но я прерву пока эту сложную тему и, чтобы отбросить достоинства и недостатки аполитичного воспитания, расскажу о воспитании идейном и политическом.

Среди маминых знакомых была некто Евгения Базилевич. Работала она, если не ошибаюсь, в каких-то центральных профсоюзных органах, и была, по маминому выражению, шибко партийной. Был у нее сын Сережа, чуть постарше меня, воспитывавшийся, как и мы с братом, без отца, — и в течение какого-то периода обе мамы предпринимали усилия нас сблизить и подружить. Базилевичи приезжали к нам на Смоленскую, а мы ходили в гости к ним на Малую Бронную.

Вот этот Сережа Базилевич и воспитывался в крайнем идейном и политическом духе. Идейным был и он сам, идейным были и все его книжки, игрушки, игры. Есть такая известная карточная игра, описанная у Цветаевой под названием Черного Петера, а в нашем семействе именовавшаяся по-простонародному Акулькой. В Базилевичевом семействе безыдейных карт — упаси Бог! — не держали, но игра такая была, выпущенная изобретательными дядями в виде набора специальных карточек. Именовалась она «Нам буржуй не пара», а соль ее заключалась в том, что место сбрасываемых парных карт занимали различные трудящиеся пары — пролетарий и пролетарка, колхозник и

колхозница, врач и фельдшерица и т. д. Роль же Акульки или Черного Петера играл зверского вида буржуй — в цилиндре, с сигарой в зубах и мешком долларов. До сих пор помню, с каким злорадством Сережа Базилевич, прыгая и хлопая в ладоши, дразнил проигравшего: «Буржуй, буржуй!» — и как расстраивался и чуть не плакал, оставаясь буржуем. У Базилевича же я впервые познакомился с творениями Гайдара — и на всю жизнь преисполнился отвращением к его слащавой сентиментальности.

Этот Сережа Базилевич был, по-моему, самым противным мальчишкой, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело. Кипучий, несдержанный и избалованный, он во всем стремился верховодить и абсолютно не терпел, чтобы что-нибудь было «не по его». При малейшем противоречии он впадал в истерику, бросался с кулаками, топал, орал, плакал и бежал жаловаться матери — так что почти все встречи кончались безобразными скандалами и ожидаемой дружбы не получилось.

В те времена мы с братом часто играли в пиратов, это были очень интересные игры — с душещипательной накрученной фабулой, невероятными приключениями, погонями, морскими сражениями, кладами, зарытыми на необитаемом острове, и прочими творениями и заимствованиями необузданной мальчишеской фантазии. Сдуру однажды мы предложили эту игру пришедшему к нам Сереже Базилевичу. Сережа, однако, пиратов тут же отклонил, авторитетно разъяснив, что пираты были просто разбойники, заботившиеся о собственном обогащении, а не о мировой революции, — и предложил вместо пиратов воевать с японцами (дело было во время яростной антияпонской кампании в газетах). Война с японцами под Сережиным руководством оказалась, на наш взгляд, совершенно неинтересной — она сводилась к тому, что мы один за другим топили японские корабли, сами не неся при этом

никакого урона. Через четверть часа она нам окончательно надоела — Сережа же, вошедший в раж, требовал, чтобы мы ее продолжали, — и дело кончилось грандиозным скандалом, так что мать была вынуждена тут же увести его домой.

Наконец, однажды мы были торжественно приглашены к Базилевичам — посмотреть пьесу, сочиненную и поставленную самим Сережей. Он же, конечно, играл и главную роль — остальные роли исполняли то ли его школьные, то ли дворовые друзья, уже высколенные им до полного послушания. Заглавие пьесы было многообещающим — про арктическую экспедицию (опять же связано с челюскинской эпопеей). Но Бог мой, что это была за пьеса! Никакой выдумки — а вся она сводилась к тому, что участники экспедиции обменивались репликами, заимствованными из газетных передовиц. Пьеса, по-моему, доканала и маму — во всяком случае знакомство с Базилевичами вскоре как-то быстро сошло на нет. Впрочем, могли быть и другие причины — наступал 37-й год, вызвавший у мамы перемену отношения к идейности вообще, и к идейной Базилевич, в частности.

Много лет спустя, уже взрослым, я поинтересовался у мамы, чем объясняется феномен ее дружбы с Евгенией Базилевич. Мама рассказала, что Базилевич была ее подругой еще с дореволюционных лет, что тогда, в молодости, они были очень близки, вместе металась, философствовали и искали смысл жизни. После революции жизнь — со смыслом или без смысла — разбросала их в разные стороны. Встретившись с ней случайно после возвращения из Ташкента, мама сама была потрясена произошедшей в подруге партийной переменой и прямо спросила ее о причине оной. Базилевич напомнила ей, как в молодости они металась и искали, сказала, что она очень мучилась тогда от отсутствия внутренней опоры, и что теперь она успокоилась, найдя опору в партии, дающей ей готовые

предписания и возможность ни о чем не думать. Такое объяснение маму очень покорило, но отчасти и удовлетворило, — чем покорило и чем удовлетворило, я тогда уже сам догадывался и не уточнял.

Мамино объяснение я дополню собственной небольшой философией: я уже говорил, что ярцевское семейство вообще берегло старые знакомства. Естественного, с моей теперешней точки зрения, критерия — общего культурного уровня, взгляда на вещи, интереса — в выборе таких знакомств часто не было, поддерживались отношения с людьми совершенно чуждыми по духу, неинтересными и глупыми, поддерживались потому, что хотели сохранить остаток, эрзац, фикцию несуществующего дома (упрощаю, конечно, в действительности — более сложный комплекс, но такой элемент в нем присутствовал тоже). Особенно ценились старые, еще крымских времен, знакомства — для мамы крымский ореол даже оказал влияние на ее второе непродолжительное замужество.

Крымского ореола у Базилевич не было — но ореол подруги молодости ярко сияет и без ярцевского усиления. Сама ее партийность могла вызвать у мамы специфическую интеллигентскую браваду: пусть-де она и шибко партийная, — но старые человеческие связи должны быть сильнее любой идейной шелухи. Бравада — кто знает, может быть, и двусторонняя — и гальванизировала эту вторичную дружбу, пока какие-то черточки или посторонние обстоятельства не открыли маме, что идейная шелуха, к сожалению, не такая уж легко сбрасываемая шелуха в этом чересчур политическом мире. Такова моя интерпретация, а верна ли она, теперь уж невозможно проверить...

А имя Сережи Базилевича неожиданно промелькнуло передо мной уже после войны, когда я со случайным визитом, не помню уже по какому поводу, попал в одно малознакомое семейство. Отец этого семейства, что часто тогда бывало, находился в весьма

отдаленных местах, откуда ожидался в весьма отдаленном будущем. Почему-то на эту тему зашел разговор — и выяснилось, что арестован он был во время войны за то, что тайком слушал иностранное радио, а донес на него соседский мальчишка по имени Сережа Базилевич, и жили они тогда на Малой Бронной... Реальная жизнь — великий художник и разрешает себе всё, даже наивные примеры из моральной прописи; и я могу только быть бесконечно благодарен маме и ярцевскому семейству за то, что они не дали мне идейного воспитания.

В школе, где училась моя двоюродная сестра, однажды погас свет — а занятия продолжались тогда до позднего вечера, в две, а то и три смены. Причиной замыкания оказался гвоздь, кем-то нарочно забитый в проводку. Учителя своими силами провели расследование и выявили преступника — тихого, скромного мальчика, никогда прежде не замеченного ни в каких шалостях, тем паче зловредных. Его вызвали в учительскую и стали допрашивать, зачем он это сделал. А он заплакал и сказал: «А зачем моих папу и маму арестовали?»

Этим непридуманным, достойным Достоевского рассказом, случайно подслушанным от взрослых, вторгся в мое десятилетнее сознание тридцать седьмой год. И говоря о моем политическом воспитании и воспитателях, не могу не упомянуть о Неизвестном мальчишке с его жалкой и нелепой мстью бездушному и античеловеческому миру, так страшно обрушившемуся на его детство, о единственном достоверном вредителе на сотни тысяч во вредительстве обвиненных.

По счастливой ли случайности, или, может быть, из-за отсутствия притягательных объектов, сталинские репрессии обошли стороной и непосредственно ярцевское семейство, и ближайший к нему круг друзей и родственников. Но уже в более широком круге близких знакомых счет жертв вскоре пошел на десятки,

так что скрывать происходящее от нас, детей, стало совершенно бессмысленным. И когда в ярцевском семействе появился первый свидетель о т т у д а, мы с братом уже не тайком, а официально, вместе со взрослыми слушали его рассказ.

Рассказчиком был старый, еще с крымских времен, знакомый, благополучно отделавшийся годом или полутора мытарств, но успевший испытать и прелести тогдашнего следствия, и даже немного лагеря. Вышел же так скоро он потому, что, оказалось, арестован был по ошибке из-за отдаленного сходства имени и фамилии с кем-то, кого требовалось арестовать. Такие ошибки при тогдашнем массовом производстве случались частенько, исправлялись реже, да и исправления, случалось, опаздывали, так что ему действительно-таки крупно повезло.

Человек он был по натуре легкомысленный и веселый, и рассказ его не имел чрезмерно мрачного колорита. Бóльшую часть рассказа я теперь уже забыл, но одна подробность запала — как он в коридоре следственной тюрьмы случайно встретился с каким-то знакомым профессором, причем не то кто-то из них, не то оба они возвращались с допроса в камеру на карачках. Непосвященным поясню, что в числе прочих методов допроса применялся тогда и стоячий, когда человека выдерживали в стоячем положении в течение нескольких суток. Ноги от этого стояния наливались кровью и превращались в раздувшуюся, бесформенную массу. Переступить ими человек уже не мог. С такого допроса возвращались на карачках, даже если допрос не сопровождался дополнительным избиением.

Когда он выходил из лагеря на свободу, начальник напутствовал его русской пословицей: «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами». Но больше его рассказа поразила меня речь, с которой после ухода рассказчика обратилась к нам тетя Наташа. Со страстной убежденностью она призвала нас на всю жизнь за-

помнить необычайную храбрость этого человека, осмелившегося, несмотря на предупреждение о грибах и зубах, рассказать нам о том, что он видел и испытал. Сопоставляя с естественными для моего тогдашнего возраста эталонами типа трех мушкетеров и следопыта, я счел ее восхищение его храбростью несколько чрезмерным. Впоследствии, столкнувшись с примерами магического действия в сходных ситуациях притчи о грибах и зубах, я несколько поослабил свой внутренний протест и ныне готов признать и относительную храбрость рассказчика, и законность ее восторга. Но разделить его полностью все же не могу, и тогдашний мальчишеский скептицизм остается ближе моему сердцу. Вспоминаю сейчас, что и мама, хотя и не сочла уместным что-нибудь возразить, но промолчала достаточно красноречиво. Предполагаю, что ее поразила не столько храбрость рассказчика, сколько горькая мысль об удивительном мире, где рассказ в интимном кругу близких друзей может кому-то показаться из ряда вон выходящей храбростью.

Несмотря на благополучие в смысле репрессий, тридцать седьмой год оказался черным и для ярцевского семейства, начав собой трехлетний период горестей и трудностей, навалившихся сразу со многих сторон. К моему политическому воспитанию эти горести и трудности, как в основном чисто домашние, имеют весьма косвенное отношение, и я упомяну о них только вскользь. Скорее, пожалуй, они, может быть, спасительно сосредоточили на себе внимание и интересы семейства и отодвинули на второй план происходящее в более широком мире. Такая реакция, замечу, вовсе не тривиальна, достаточно часто личные и семейные трагедии усугубляют не отгороженность от мира, а сопричастность ему. И не внешние обстоятельства, а скрытые внутренние пружины определяют выбор альтернативы.

Слегла в параличе бабушка. Мама, уже перешагнувшая сорокалетний возраст, сделала вторую, последнюю и неудачную, попытку создать семью, выйдя замуж, как я уже упоминал, за старинного друга детства. У меня нет никаких дурных чувств к отчиму, он просто был, по-моему, заурядный и мало интересный человек, всю жизнь проживший под каблуком своей матери — колоритной, но вздорной и деспотичной старухи, сразу же ревниво невзлюбившей маму. Ни ужиться с ней, ни преодолеть ее застарелого влияния на сына мама не сумела — вскоре, возможно, и не сочла окупаемыми потребные на это усилия. Со мной и братом отчим делал героические попытки ужиться, и зимние с ним прогулки на лыжах в Фили я до сих пор вспоминаю с благодарностью. Но поставить себя на настоящую ногу не сумел, мы были тогда мальчишки в самом трудном и скверном возрасте, инстинктивно и своекорыстно его раскусили, оказались запанибрата и не ставили ни в грош. Мне кажется, в глубине души он нас панически боялся.

Мама родила дочку. К житейским трудностям, вызванным бабушкиной болезнью, добавился грудной ребенок, и какая-то доля обязанностей по нянченью легла, как на старшего, на меня. По-мальчишески тяготясь этими обязанностями и часто ругаемый за их небрежное выполнение, я быстро привязался к маленькому опекаемому существу, уже начинавшему мне улыбаться. В возрасте десяти месяцев сестричка умерла от скоротечной пневмонии — мое первое близкое столкновение с Ее Величеством Смертью.

Смерть ребенка ускорила разрыв между мамой и отчимом — опять же не тривиальная, а альтернативная реакция.

Дом, где мы жили, находился на Смоленской улице возле Бородинского моста на высоком для Москвы холме, еще сохранявшем древнее название Варгунихиной горы. По генеральному плану реконст-

рукции Москвы, часть горы должна была быть скрыта, и наш дом попадал под снос. С нас потребовали срочного выселения. Квартир в те годы, как правило, не давали, а выделяли участок за городом и мизерную компенсацию — 2.000 рублей на душу — на строительство. В такой крайней ситуации собрался расширенный семейный совет из мамы, тети Наташи и других родственников, живших отдельными семьями в той же квартире, — и было решено обратиться к верховным властям с просьбой о предоставлении квартиры вместо участка и компенсации. В составленном письме упоминались революционные заслуги Григория Федоровича и указывались трудные обстоятельства расширенного семейства: наличие на 10 человек только одного взрослого мужчины, четырех несовершеннолетних детей, парализованной бабушки и тоже лежащей четвертой ярцевской сестры, еще в молодости заболевшей редкой и неизлечимой болезнью — рассеянным склерозом. Адресатом письма был выбран почему-то Молотов — вероятно, из-за очков он показался наиболее интеллигентным из сильных тогдашнего мира сего. Для вящего веса к передаче письма каким-то образом была привлечена протекция какой-то из великих литературных вдов — то ли Горького, то ли Чехова.

Оперативность молотовской канцелярии оказалась потрясающей. Письмо с собственноручной молотовской резолюцией «выделить квартиру» вернулось чуть ли не на следующий день. Но резолюция была только половиной дела, по резолюции предстояло получить ордер в Моссовете. И эта вторая половина оказалась неизмеримо более трудной и затяжной.

Семейство, группками и поодиночке, бездомно скиталось по разным знакомым. Дом сломали. Гору скрыли. Бабушка умерла. А тетя Наташа и другие родственники, установив дежурство, месяц за месяцем чуть не каждый день бесплодно обивали порог Моссовета, порой обнадеживаясь обещаниями, а порой принося

неутешительные вести: «А сегодня сказали, что раньше чем через месяц рассчитывать не на что», «А сегодня мы встретили человека, ходящего с резолюцией самого Сталина уже два года».

И все же регулярное хождение в конце концов принесло свои плоды. При одном из очередных безнадежных посещений Моссовета вдруг оказалось, что весь старый состав смещен за взяточничество, и только что назначенный начальник выписал ордер по молотовской резолюции. Счастье было в том, что накануне приходили тоже и пресловутое письмо с резолюцией оказалось в папке на самом верху. И он успел взять его в руки прежде, чем утратил свою неподкупную невинность.

Въездом на новую квартиру в новом доме на Большой Калужской (ныне — Ленинский проспект) и завершился период горестей и трудностей ярцевского семейства. Оплавав мертвых, пережив (мама) неудачный брак, собравшись после рассеяния, семейство начинало устраивать новую нормальную жизнь.

Но все понимали, что передышка будет недолгой. Был конец тридцать девятого года, в Европе уже шла мировая война, и что в недалеком будущем она ворвется и в нашу жизнь, никто не сомневался.

Но я отвлекся от темы моего политического воспитания, так ничего и не сказав о воспитании школьном. Это не по забывчивости, а мне и впрямь о нем нечего сказать. Примитивное школьное политвоспитание с октябрятскими звездочками и пионерскими галстуками иначе как бутафорию я не воспринимал никогда, и никакого влияния оно — кроме как самой своей бутафорностью — на меня не имело. К навязчивой агитации сызмальства выработался иммунитет, и она проскальзывала мимо ушей, не западая в сознание. Может быть, поэтому сейчас мне кажется, что ее вообще было не так уж много, и учителя в мое время

старались больше просто учить, чем политически воспитывать.

Вдобавок, обычная школа кончилась для меня рано — на седьмом классе, в сорок первом году, в возрасте, когда человек еще мало отрывается от порога дома. И трех старших классов с их усиленным политическим воспитанием в моей жизни не было.

Но этим я забегаю вперед, а эта глава кончается и следующая начинается точной датой: 22 июня 1941 года.

**ИЗ ВВЕДЕНИЯ А. Д. САХАРОВА
К КНИГЕ Г. С. ПОДЪЯПОЛЬСКОГО**

Григорий Сергеевич много думал об окружающей его жизни, о глубинных причинах тех трудностей, парадоксов и зачастую ужасов нашего общества, которые он наблюдал с детства...

Извне понять наше общество, по-видимому, чрезвычайно трудно. Каждый, кому приходится пытаться объяснить что-либо в этом роде иностранцам, даже самым доброжелательным, непредвзятым и умным, то и дело сталкивается с трагикомической ситуацией, когда после многочасовой беседы собеседник задает тебе вопрос, показывающий, что весь предыдущий разговор прошел впустую, так как что-то само собою разумеющееся для человека, проведшего жизнь в нашей стране, с советским паспортом и на советскую зарплату, не было понято с самого начала. Образно говоря, кроме (и до) высшего образования нужна еще начальная школа. И вот, используя этот образ, я хочу сказать, что в книге Г. С. Подъяпольского мы имеем сразу и школу, и университет и даже отдельные узелки «докторской диссертации» — то есть обобщающей концепции советского общества.

Война

Написав это слово, я задумался над изменением содержания, которое оно претерпело в наш век.

Он погиб на войне.

Он погиб в войну.

Сравнивая две эти, неравнозначные по смыслу фразы, вы, может быть, сочтете первую более грамотной. Действительно, она утверждена классической литературой, смысл ее понятен и произнести ее можно. Но если вам понадобится передать этот печальный смысл и речь будет идти о Великой Отечественной войне, то вы, даже не осознавая почему, выразитесь, вероятно, современной:

Он погиб на фронте.

А вторую фразу вы вряд ли найдете в классической литературе, да в XIX веке ее, всего скорей, попросту бы не поняли. Но вы, даже не сознавая почему, прекрасно ее поймете, а может быть, она и сама ненароком у вас вырвется. И только если вы — крайний пурист, поправитесь на классическую редакцию:

Он погиб во время войны.

А причина та, что к старым классическим значениям слова война — события, состоящего в том, что люди убивают друг друга, места, где это происходит, и профессии или искусства это делать — добавилось новое: времени, когда происходит массовое взаимоистребление. И оно заставило потесниться старые значения, а месту даже потребовалась частичная замена войны другим, тоже претерпевшим эволюцию, словом: фронт. А что эти изменения не случайны, а имеют глубокое основание, вряд ли надо доказывать. Мировые войны в наш век действительно стали не просто событиями, а эпохами в истории человечества.

И участвуют в войне не только армии, но страны и народы; участвуют трудами, страданиями, помыслами, всеми сторонами своего существования. И территориально охватывает война не узкую полосу фронта, а всю землю. И исчезла у войны пространственная локализация, и осталась только временная.

И в старом понимании я не мог бы назвать «война» эту главу, потому что на войне (на фронте) не был, и ужасов и невзгод войны (события, профессия) не испытал. Но я жил в войну, сделался юношей из мальчика в войну, в войну мне впервые пришлось принимать ответственные решения, определившие мою последующую жизнь. И в этом современном смысле война была страницей моей биографии, как и всякого, чей отрезок между рождением и смертью перекрывает отрезок 1941-1945 гг.

Относительное благополучие нашего семейства, установившееся после въезда в новую квартиру, вскоре получило явное вещественное и символическое подтверждение: мы завели собаку.

Тетя Наташа работала тогда у профессора Брюханенко, эфемерно прогремевшего опытами по оживлению собак. На двух-трех оживленных счастливых, естественно, приходились десятки неудачников, выловленных собачниками со всей Московской области и беспощадно истребляемых во имя науки и для блага человечества. Среди кандидатов на эту бесславную участь сердце тети Наташи почему-то пленил неказистый, ужасно лохматый песик, породу которого по картинке в Бреме мы позже определили как пинчер-обезьяна. Она выпросила его и привела в наш дом.

Топка — в которого он быстро превратился из жюля-верновского Топа — оказался неглупым псом с независимым характером, твердо умеющим себя поставить и не допускающим никаких вольностей или

сантиментов. Конечно, он быстро прижился и сделался членом семьи.

Самым трудным из связанных с ним мероприятий оказалось купание, потому что воды он недолюбливал, вырывался, рычал, а иногда и кусался. Приходилось наваливаться на него всей семьей, так что процедура назначалась заранее на воскресенье, вся первая половина которого освобождалась от любых других дел.

В одно из таких заранее выбранных воскресений мы дружно проспали до двенадцати часов и, наскоро позавтракав, ополчились на бедного пса. Почему-то всех охватило беспричинно-веселое настроение, смеялись, шутили и, поливая Топку, норовили окатить и друг друга. Вдруг — звонок. В дверях — тетя Маня, старшая из ярцевских сестер, живущая неподалеку и часто у нас бывающая:

— Как вы? Что у вас? Что с вами?

— У нас все хорошо. Вот, Топку моем, — ответила мама, удивленная ее необычайной тревогой.

— Как? вы до сих пор ничего не знаете?! Война!!

Мы все опешили. Вырвавшийся Топка, растряхивая брызги, ринулся спастись под кровать.

Такой глубоко символической сценкой врезался в мою память знаменитый день — 22 июня 1941-го года.

Опешили — вот, пожалуй, слово, которое лучше всего отражает наше общее душевное состояние не только в тот день — первый день войны, но и в ближайшие месяцы.

Ждали войны давно, но сейчас, именно в это сейчас, как в любое бы другое, она оказалась неожиданной, и какой она будет и что принесет, конечно, не предвидели.

Несмотря на очевидные свидетельства происшедших в мире изменений, несмотря на молниеносный разгром Франции, несмотря на уже прозвучавшее

определение: маневренная, — представление о войне в сознании старшего поколения все еще оставалось прочно связанным с войной 1914 года, с ее вытянутыми в линию, почти неподвижными окопавшимися войсками, фронтами, притягивающими на себя и перемалывающими на себе людские резервы воюющих государств.

А тут — неуклонно ползущая все ближе и ближе немецкая лавина, и неизвестно, где она остановится, и остановится ли вообще. Опешенная реакция не поспевала за действительностью и была: продолжать жить, как если бы войны не было, или, может быть, как жили в первую мировую войну.

А между тем война шаг за шагом властно и прочно вторгалась в быт.

Потребовались затемнения на окнах. Были введены карточки на продукты. Стало голодно. Кое-кто из знакомых начал уезжать в эвакуацию. Начались ночные воздушные тревоги, и большинство ночей семейство стало проводить в бомбоубежище под домом. Появились предвестники настоящей, в старом смысле слова, войны: немецкие самолеты над головой, визгливые разрывы зенитных снарядов, а изредка и глухие — бомб. До Москвы докатился еще не настоящий, наземный, но периферийный авиационный фронт.

И все же разительного перелома в жизни не произошло. Мама и тетя Наташа продолжали ходить на те же службы. С 1-го сентября мы с братом пошли в школу — он в шестой, а я в восьмой. Правда, занятия продолжались недолго, вскоре нас — тогда это было в новинку — послали в совхоз на уборку овощей. Но Москва кончалась тогда у Калужской заставы, совхоз находился где-то вблизи теперешнего университета, мы там не жили, а ездили из дому на городском транспорте или даже ходили пешком. Так что уборка ощущалась лишь несколько затянувшимся обычным школьно-общественным мероприятием.

А лавина была уже близко и продолжала надвигаться.

Но я опустил один небольшой эпизод, на первый взгляд нарушающий представление об опешенности, а по сути — особенно ярко ее иллюстрирующий. Опустил отчасти потому, что сперва отнес его к более позднему времени, когда он не был бы таким нелепым. Но чем более я роюсь в своей памяти, чем более нахожу в ней синхронных привязок, тем более убеждаюсь, что относится он к самому началу войны, июлю-августу, до начала школьных занятий.

А эпизод заключался вот в чем: я поступил учеником токаря в механическую мастерскую при институте, где работала тетя Наташа.

Собственной моей инициативы тут не было. Решение — первое за войну решение о каком-то действии — было выработано совместно мамой и тетей Наташей. Мотивы решения были, безусловно, не сиюминутно-материальными, как и не патриотическими, а какими-то очень мудреными, с дальним прицелом, до которых не опешивши и не додумаешься: что-то вроде того, что поскольку идет война, неплохо бы мне на всякий случай приобрести рабочую специальность. Или, может быть, что, став незаменимым токарем, я не попаду на фронт.

Покорно, без энтузиазма, пошел я в ученики токаря. Мастерская работала уже не на институт, а на какие-то серийные заказы. Работа состояла в вытачивании по заданным размерам бесконечного числа каких-то штучек неведомого назначения. К нудности самой работы добавлялось, что как управляться со станком, мне никто толком не показал, резцы у меня сбивались и большинство штучек браковалось. Главный мастер, с первого взгляда классово меня не взлюбивший, громко меня шпынял, а потихоньку на ухо нашептывал скабрёзности и садистски наслаждался, когда я смущался и густо краснел. Дома я гордо скры-

вал свои страдания — как-никак я был мужчиной и шла война — а в душе молил Бога, чтобы они поскорее кончились, хотя перспективы выхода из них не видел.

Но Бог то ли внял моей молитве, то ли Сам имел на меня другие виды: ученичество мое продолжалось не более двух-трех недель и окончилось явным вмешательством свыше. Придя однажды после бессонной ночи, вызванной одной из самых длинных и интенсивных московских бомбежек, я на месте ненавистой мастерской увидел груду развороченных кирпичей: фашистский асс угодил прямо в нее двухсоткилограммовой фугаской. По ночам в мастерской никто не находился, так что жертв не было. Выяснив эти радостные обстоятельства, я повернулся и пошел домой. На том кончилась единственная в моей жизни попытка вступить в ряды класса-гегемона.

Перелом в жизни и психологии произошел в день, для Москвы не менее памятный, чем двадцать второе июня: шестнадцатого октября.

Об этом дне в нашей литературе избегают говорить, и я до сих пор толком не знаю, что произошло в этот день или накануне на фронте, и были ли с ним связаны какие-нибудь другие чрезвычайные обстоятельства, вроде бегства правительства.

А то, что произошло в этот день в Москве, может быть охарактеризовано одним словом: паника. Почти мгновенно, в первые утренние часы весь город охватило повальное и безусловное убеждение, что если не сегодня, то завтра немцы захватят Москву. И самое фантастическое в этом фантастическом дне было то, что о вступлении немцев в Москву никто не говорил — во всяком случае, я ни разу не слышал таких слов, — но всё, что говорилось и делалось, просто означало именно это. И слова не говорились потому, что были излишни.

Эвакуация учреждений и предприятий, проводившаяся постепенно с первых же дней войны, в этот день превратилась в бегство. Количественно она не могла сильно превысить предыдущие дни — ей ставила предел пропускная способность дорог. Но раньше уезжали — теперь ринулись уезжать. Уезжали в набитых до отказа телячьих вагонах, на подножках и буферах.

По городу стоял запах гари: во всех учреждениях сжигали архивы. Огромное количество учреждений тут же исчезло: одни выехали на восток, другие закрылись совсем.

В нашей семье в этот день не было каких-либо событий, кроме событий, связанных с жизнью всего города. Например, придя утром в школу (накануне наша работа в совхозе закончилась, и нам сказали, что возобновятся занятия), я узнал, что занятий не будет, и школа закрылась совсем, а здание отдается под госпиталь. Но в Москве в этот день перестали функционировать все школы и вообще все гражданские учебные заведения.

На улице я увидел небольшую сгрудившуюся толпу и подошел посмотреть, в чем дело: пожилой рабочий, указуя перстом в небо, возвещал пришествие антихриста.

А почти весь день я провел в колоссальной очереди за продуктами, так и не добравшись к вечеру до прилавка.

Физико-химический институт имени Карпова, где работала мама, спешно эвакуировался. Едва она вошла в лабораторию, к ней в слезах и ломая руки бросилась ее сослуживица и стала жаловаться, что ее с мужем не берут сегодня, а предлагают выехать только завтра. Мама стала ее успокаивать, говоря, что не может же вся Москва выехать в один день. И тогда трагическим шепотом она поведала маме главную причину своего отчаяния:

— Но мы же — евреи!..

По городу расходились самые фантастические, вздорные и неправдоподобные слухи, и, стоя в очереди, я их наслушался вдоволь. В одной группе рассказывалось, что Сталин собственноручно застрелил Ворошилова за то, что он подпустил немцев к Москве. В другой — наоборот, что Ворошилов застрелил Сталина. В третьей, что Стаханов, ограбив кассу, сел в чужую машину и скрылся, причем рассказчик божился, что видел это собственными глазами...

А вечером по московскому радио вместо ожидавшегося выступления кого-либо из вождей было передано выступление какого-то деятеля городского ранга, Пронина, неведомого да и канувшего в небытие после, — самое умное и действенное, какое мне когда-либо приходилось слышать. И не было в том выступлении ничего или почти ничего ни о панике, ни о немцах, ни вообще о войне. А речь шла о каких-то мелочах городского быта, что-то вроде того, что магазины с завтрашнего дня будут работать с такого-то до такого-то часа, а дворникам следует лучше подметать улицы — словом, я не помню, о каких, и неважно, о каких, мелочах. Но о таких мелочах, о которых незачем говорить жителям сдаваемого наутро города.

И паника стихла столь же непостижимо, как и поднялась. И Москва заснула в уверенности, — а воздушной тревоги в ту ночь не было, — что немцы, по крайней мере в ближайшие дни, в нее не войдут.

Как и от всех москвичей, 16-е октября потребовало от ярцевского семейства окончательного решения дилеммы, вставшей еще с самого начала войны: уехать ли в эвакуацию или остаться на месте, рискуя — опуская все второстепенные риски — оказаться на оккупированной немцами территории. И семейство решило остаться.

Формальные основания для этого решения были просты и чисто семейного порядка. Я уже упоминал, что в той же квартире находилась еще одна тяжело больная ярцевская сестра. Состояние ее за прошедшие несколько лет заметно ухудшилось, и везти ее в дальние края представлялось невыносимым. Она неизбежно оставалась вместе с мужем и дочерью.

Тетя Наташа категорически заявила, что больную сестру не бросит. Мама колебалась больше: ее сильней мучила тревога за судьбу собственных детей. Но в конце концов всё же склонилась к тому, что тетю Наташу, так много для нее в жизни сделавшую, оставить не может.

Что же касается нас с братом, то наше мнение еще не имело большого веса. Только через 6 дней мне, старшему, исполнялось 15 лет. Да и сами мы, чувствуя сложность дилеммы, были, вероятно, рады предоставить решение взрослым.

И для ярцевского семейства, выброшенного из общественной жизни и загнанного в свою хрупкую семейную раковину, исходить из непосредственно семейных интересов было в высшей степени натуральным.

И все же вызывая из глубины тридцатилетнего прошлого дорогие образы мамы и тети Наташи, я не могу не поставить перед ними вопроса:

— А не было ли за вашими решениями еще и других, никогда не названных мотивов? И каких?

И прямо:

— А не настолько ли обрыдла вам первая в мире коммунистическая держава с ее великими вождями и мелкими чинушами, с подвигами тридцать седьмого года и непрерывной ложью, что в глубоких тайниках души вы мечтали оказаться под властью хотя бы Гитлера?

И на мой вопрос я не слышу ответа, и лишь предположительно могу ответить за них сам.

Да, конечно, решение определилось не только конкретными мотивами, но и общим фоном настроения и сознания. И, вероятно, я не сильно ошибусь, если передам этот фон примерно такими фразами:

— Что будет, то будет. Кто знает, что окажется лучше, — уехать или остаться. Авось, Москву не займут. А в крайнем случае — жили при Сталине, как-нибудь перебежусь и при Гитлере.

И еще одно соображение, о котором сейчас, ретроспективно, можно забыть — но тогда оно тоже могло иметь силу:

Спастись от Гитлера в Куйбышев, Свердловск, Ташкент? А спасти ли? Где гарантии, что завтра, через месяц, через год под властью Гитлера не окажутся Куйбышев, Свердловск, Ташкент, вся страна до Тихого океана?

А и оккупацию легче пережить на насиженном месте, чем беженцем из чужих краев.

Мечтать было не о чем. Что фашизм — те же великие вожди и мелкие чинуши, подвиги и ложь, да еще чужие, немецкие — понимали слишком хорошо. Да и сама война эмоционально отчасти заслонила собственный тридцать седьмой год и воспринималась как общее бедствие, обрушившееся и на нас, людей, и на них, правителей. Мама потом признавалась, что знаменитая июльская речь Сталина с «братьями и сестрами» ее отчасти купила. И в тот критический момент он ей казался относительно своим...

Нет, видимо, не мечтали. Но возможность предвидели. И метнули на нее в орла и решку.

В бомбоубежище я провел с семейством только несколько первых воздушных налетов, а потом записался в дружину гражданской противовоздушной обороны. Такие дружины были созданы при каждом домоуправлении, и назначением их было обезвреживать мелкие зажигательные бомбы и тушить вызван-

ные ими пожары. Членам дружины во время налета полагалось находиться на чердаке под крышей, где находились огнетушители и прочий противопожарный инвентарь, ящики с песком, двухметровые щипцы и плакаты, изображавшие, как такими щипцами хватать бомбу под жабры и совать в такой ящик, после чего ей, предполагалось, наступала крышка. Можно ли взаправду обезвредить таким способом зажигалку — не знаю, проверить на практике мне так и не довелось.

Мама пыталась слабо меня отговорить — перспектива сидеть в убежище, в то время как ее сын подвергается опасности на чердаке, ее не привлекала. Но меня поддержала тетя Наташа, заявившая, что настоящий мужчина так и должен поступать. Маме пришлось сдаться.

Каюсь, я пошел в дружину не потому, что был мужчиной, а потому что был мальчишкой, и смотреть на налет с чердака было куда интереснее, чем сидеть в убежище.

А зрелище ночного налета было действительно феерическим. По всему небу тревожно шарили лучи прожекторов. Иногда некоторые из них вдруг застывали и скрещивались — один, другой, третий — и в месте их скрещения обозначалось маленькое блестящее пятнышко — нащупанный прожекторами немецкий самолет. И непрерывно то тут, то там вспыхивали и тут же расползались огромные яркие звезды — рвались зенитные снаряды. А изредка небо на мгновение перерезали огненно-красные пунктиры — трассирующие пули (или снаряды). Вот только как подбивают немецкий самолет, мне так и не удалось ни разу увидеть.

Но старательно отбывал свои дежурства на чердаке я тоже не очень долго. Затем произошла естественная эволюция, вызванная сразу тремя факторами: самое феерическое зрелище от повторения приедается, бомбы на наш дом почему-то не падали, и дежурство

на чердаке все более ощущалось бесполезным времяпрепровождением, и надвигалась осень, и находиться на чердаке становилось холодно.

Стрельба и феерия иногда заканчивались задолго до объявления отбоя. Я стал уходить с чердака в нашу пустую квартиру. А потом обнаглел — и стал уходить в разгар стрельбы и феерии. А потом и вообще перестал ходить на чердак — и прямо шел в пустую квартиру, проводя в одиночестве длинные бессонные ночи воздушных тревог. Или нет, не совсем в одиночестве, а вдвоем с товарищем этих бессонных ночей — Топкой.

Я уже говорил, что был он неглупый пес. И сигналы воздушной тревоги и отбоя он усвоил удивительно быстро. По твердому правилу жил он в своем углу в передней и входить в комнату не очень ему разрешалось. Но услышав позывные воздушной тревоги — а его чуткое собачье ухо улавливало какие-то первые, еще не слышимые нами предвестники — он начинал громко и решительно царапать в нашу дверь. Ему открывали — и он пулей влетал в комнату и тотчас забивался под тети-Наташину кровать, в место, так и называемое Топкиным бомбоубежищем. Там он смирно, не шелохнувшись, сидел до самого отбоя, а заслышав отбой, тотчас выскакивал, начинал прыгать, вилять хвостом и даже лаять, всеми способами выражая свою собачью радость, — пока безжалостно не изгонялся снова на свое место в переднюю.

И Топка сидел тут рядом в своем убежище, подбадривая меня своим присутствием — но сидел тихо и мне не мешал.

И с этими длинными бессонными ночами в пустой квартире вдвоем с Топкой связаны мои самые приятные воспоминания военных лет.

Спать обычно не хотелось. Ощущение небольшой опасности было приятным, возбуждало и как-то обостряло чувства. Еще приятней было просто само оди-

ночество — при переезде в новую квартиру одну комнату мы потеряли и жили теперь в одной, почти все время вместе. И одиночества не хватало.

Что я делал этими одинокими ночами? Ничего особенного. Самое главное. Думал. Читал. И начал писать стихи.

А читать было что. Уезжая в эвакуацию, одно знакомое семейство попросило нас взять на сохранение библиотеку. Отец семейства был историком, и книги большей частью были по истории. Помню сейчас: три огромных роскошных тома «Всемирной истории» Иегера, восемь томов «Истории XIX века» Лависса и Рембо, Ключевский, Плутарх, Моммзен. Множество — по разрозненным кусочкам истории разных времен и народов. История литератур — и история в литературе: греки и средневековые миннезингеры, Данте, Калидаса... (впрочем, кое-что из этого попало мне тогда, возможно, и из других источников). Все это бесценное богатство я челноком, на своем горбе перетаскал в наш дом — и поглощал и как-то осваивал по ночам.

А тогдашние стихи мои были никудышные и не сохранились — ни материально, ни в памяти. Что-то собственное, чудилось мне, начинало во мне звучать — но я не умел придать ему форму своей еще детской рукой.

А думалось слишком о многом. Мне было пятнадцать лет, у меня прорезалась душа, она впитывала огромный мир истории и культуры — а рядом разрывались бомбы.

После 16-го октября Москва неузнаваемо изменилась. Она перестала быть столицей, а сделалась внешне полумертвым осажденным городом.

Улицы перегородились баррикадами — не наспех воздвигнутыми баррикадами восстаний, куда в беспорядке сваливается что попало, а прочно выстроен-

ными, опоясанными рвами и цепочками «ежей» противотанковыми баррикадами второй мировой войны. Через баррикады приходилось перебираться узкими, шныряющими вверх и вниз пешеходными тропинками. Транспорт, естественно, не ходил, разве что где-то в центре еще оставались обрывки трамвайных маршрутов.

Особенно по вечерам, когда кончалась работа и закрывались магазины, еще задолго до введенного комендантского часа, становилось тихо и пустынно.

Не знаю, какая часть населения оставалась тогда в Москве. Но на взгляд, на ощущение — не больше одной десятой. Впрочем, ощущение могло быть обманчивым: тем, кто остались, стало некуда ходить. В гости? Но у всякого, кто остался, большинство знакомых выехало, а знакомые, живущие в дальних концах города, стали недосыгаемыми. Да и проблема угощать гостя, угощаться или не угощаться в гостях стала чересчур щепетильной: пайки были полуголодные. А кино, концертов, лекций не было и в помине. Чувствительность к холоду от недоедания усилилась, и выходить на улицу сверх необходимости не тянуло.

Но в полумертвом городе теплилась жизнь — еле-еле, тихая, трудная — но прочная, установившаяся надолго, устанавливающаяся надолго жизнь в надолго осажденном городе.

Опешенное состояние нашего семейства кончилось. Решение было принято, новых катаклизмов не ждали. Настало время нести последствия своего решения и приспособливаться к новой жизни. И — внутренне — наступило спокойствие.

Научные институты, где работали мама и тетя Наташа, выехали. Новую работу пришлось искать, какую подвернется, с единственным требованием — чтобы было близко. Обе они устроились довольно скоро — мама в лабораторию по определению теплотворной способности подмосковных углей, возникшую

на останках Горного института, тетя Наташа — химиком на сахариновый заводик.

Мы с братом оказались не у дел: попытки куда-то пристроиться и мне не увенчались успехом. На нас легло домашнее хозяйство, то есть, в основном, стояние в очередях: на очереди безлюдье Москвы почему-то повлияло мало.

И хотя горячо переживались, но не вызвали заметного изменения в новой установившейся осажденной жизни знаменитые декабрьские события: попытка немецкого окружения, разгром немцев под Москвой и их отеснение к границе Московской области с окончательным замораживанием на долгий срок Московского фронта.

Тетя Маня, принесшая войну в наш дом, среди ярцевских сестер была самая гуманитарная.

В детстве она болела костным туберкулезом и до 16-ти лет проходила на костылях; к старости у нее осталась только небольшая хромота. Болезнь, вырвавшая ее из круга сверстников, научила ее жить интенсивной внутренней жизнью и выработала своеобразный характер, созерцательный и независимый.

Она писала в молодости стихи — типичные стихи рубежа двух столетий, полные томления и грусти и тихих, светлых раздумий; была знакома с некоторыми из тогдашних кумиров — Бальмонтом, Волошиным. Другим из ее увлечений были языки, которые она самостоятельно, из любви и чтобы читать в подлиннике поэтов, освоила в довольно большом количестве — кроме основной тройки еще итальянский, испанский, кажется еще норвежский. Единственная из сестер она побывала за границей — в те годы, когда это было просто (сиречь до революции), — в Австрии, Швейцарии, Италии, довольно долго по соседству с Горьким прожила на Капри. Личная жизнь у нее сложилась бурно и неудачно. Был у нее когда-то ребенок, умер-

ший в раннем детстве, и любимый второй муж, врач Борис Александрович Рейн, чью фамилию она носила, умерший в годы разрухи от сыпного тифа. С первым мужем, одним из старых друзей ярцевского семейства, она разошлась по принципиальным мотивам, отстаивая свою духовную независимость, еще до революции. Разводы тогда были трудны, по таким основаниям не допускались вовсе, — и ей пришлось героически взять на себя вину несуществующего прелюбодеяния.

К старости она осталась одинокой, работала по библиотекам, ютилась в крошечном, огороженном шкафами закутке бывшей рейновской квартиры, заселенной посторонними людьми, и обзавелась небольшими чудачествами: вечно ходила с огромными и тяжелыми сумками, битком набитыми книгами, и делала — для души — бесконечные выписки на карточках цитат на всех языках. Но в ней — а может быть, это тоже чудачество — умудрялся сохраняться горячий юношеский энтузиазм, умение увидеть, понять и почувствовать красоту — слегка старомодное, очень искреннее и достаточно профессиональное.

С остальным семейством она поддерживала теплые отношения, но все же жила сама по себе, дорожа независимостью и гордо неся свое одиночество. Но в тяжелую осень 1941 года ее как-то ближе прибило к нашему дому, и несколько месяцев после 16-го октября она прожила у нас, лишь изредка навещаясь в свой закуток. И за эти месяцы я не могу не вспомнить о ней с великой благодарностью.

Как-то в начале этого периода мама пожаловалась, что мы с братом погрязли в бесперспективном хозяйственном существовании. Для меня это время было скверным еще и потому, что ночные тревоги стали реже, да к ним привыкли и перестали спускаться в убежище. И мои любимые одинокие ночи кончились.

И тетя Маня нашла конструктивное решение нашей проблемы, взявшись с присущим ей энтузиазмом заниматься с нами английским языком...

Когда-то до школы бабушка пыталась вдолбить нам французский, в школе мы зубрили немецкий — но эти насильственные занятия как-то очень мало нам дали, и внушали к языкам больше отвращения, чем любви. За короткое время тетя Маня успела передать нам много больше, и, главное, — свою собственную любовь.

Ее манера преподавания была оригинальная и восходила к тому способу, которым она когда-то осваивала языки сама. После первых основ она сразу переходила к стихам, заставляя нас заучивать длинные куски из Байрона и Лонгфелло — по ее мнению, хорошие стихи лучше всего помогают освоить и грамматический строй, и словарь, и вообще возможности языка. Не знаю, выдерживает ли ее способ в нормальных условиях педагогическую критику, — но в специфических условиях войны, недоедания и нарушенности жизни он оказался удачным. А Байрон и Лонгфелло действительно оказались великолепным средством против духовного опустошения.

А еще от тети Мани я получил первую внутреннюю поддержку своим поэтическим опытам. О каком-то влиянии или переключке тут вряд ли приходится говорить. Легкая задумчивая грусть ее стихов мало соответствовала моему ощущению страшного и жестокого века, в который мне предстояло вживаться. Ее «лучи, купающие миры», не были моими лучами, тревожно мечущимися по ночному небу в поисках вражеских самолетов, но один кардинальный общий пункт у нас был — тетя Маня всей душой ощущала поэзию важным делом — и поддержка именно в этом пункте более всего была мне нужна.

В середине первой военной зимы от школьного друга, прозябавшего, как и я, без дела, я узнал о появлении в Москве школы-экстерната и отправился с ним туда поступать. Прием в экстернат, оказалось, уже закончился и начались занятия, — но мы проявили настойчивость, стали ходить на занятия нелегально, а потом зачислились и официально, по протекции его матери, знакомой с кем-то из экстернатской администрации. Известно еще с первых лет революции, что товарищ Блат выше товарища Совнаркома.

За первой удачей скоро последовала и вторая: с дальнего края Москвы экстернат перебрался в наш район, на опустевший пятый этаж огромного здания Горного института. Удача была еще и в том, что в том же здании на третьем этаже работала мама, и в перерывы я мог забегать к ней в лабораторию и отогреть над плиткой обмороженные пальцы. Через маму же я получил доступ к прекрасной старой библиотеке Горного института — как раз во время, когда книжное богатство, доставшееся мне в начале войны, я почти все освоил.

Этот первый экстернат — к концу войны экстернаты расплодились, а впоследствии слились с подготовительными курсами институтов — возник при обществе взаимопомощи научных работников с первоначальной основной целью дать средства существования профессорам и другим крупным специалистам, оставшимся без работы в полусажденной Москве. Кто-то, видимо, догадался и о том, что школы-то закрылись, но какое-то число детей школьного возраста, имеющих потребность продолжить образование, осталось — мальчики, лишь через два-три года ожидающие призыва в армию, и девочки, Бог знает чего ожидающие. Идея собственно экстерната состояла в том, чтобы, поскольку преподавательский состав предполагался особо высококвалифицированным, а война требует интенсификации любого труда, в том

числе и труда учащихся — завершить образование в ускоренном темпе, три старших класса за два или даже полтора года, учитывая, что полгода уже пропало. В этом ускоренном прохождении был еще один не называемый, но всеми понимаемый аспект: мальчики, оканчивающие экстернат годом раньше обычной школы, получали возможность вообще избежать армии, до призывного срока поступив в дающий броню (освобождение от военной службы) институт.

Поступление в экстернат было первым в моей жизни инициативным шагом, лишь одобренным и санкционированным мамой и тетей Наташей. Указанный аспект, естественно, принимался при сем во внимание, — но и без него продолжение образования хотя бы одним из детей соответствовало их чаяниям. Брат пошел по той же дороге годом позже, когда экстернат расширился и на более младшие классы. Обучение в экстернате было платным, но деньги не имели тогда большой цены — за месячный взнос в 50 рублей в ту зиму от силы можно было купить на рынке полкило мороженой картошки. Зато учащийся получал продуктовую карточку более высокой категории, чем простой иждивенец, что материально имело более существенное значение.

Экстернат мало походил на обычную школу: собственно школьной оставалась только программа. Сами же занятия носили характер более институтских лекций, чем школьных уроков. Экономия времени достигалась в основном отменой школьных проверок — вызовов к доске, контрольных и так далее. Лишь изредка, для себя, некоторые преподаватели давали контрольные домашние задания. Официальная проверка знаний производилась только на переходных (и выпускных) экзаменах — и зато была полной, по всем предметам.

Мало похожими на школьных учителей были и преподаватели. Многие из них были действительно

крупными специалистами, порой читавшими школьный курс с блеском лучших университетских профессоров. Но попадались между ними и какие-то удивительные чудачки и просто несчастные, относящиеся к своим обязанностям с тупым безразличием, — может быть, сломленные какими-то неведомыми трагедиями, а может быть, и вправду прозябающие на грани голодной смерти. Иногда кто-либо из преподавателей неожиданно исчезал, и его место заступал новый — одни умирали от дистрофии (в переводе на русский язык с латыни это означает от истощения, а с советского — просто: от голода), другие исчезали в прямом смысле слова, по той же причине, что и в тридцать седьмом году и во все остальные. К концу экстерната, когда началась эвакуация, специалисты стали уходить из экстерната, и состав преподавателей стал приближаться к обычному школьному.

Ярче всех встает у меня сейчас в памяти преподававший нам русскую литературу за восьмой класс Михаил Михайлович Дагаев, невысокий кряжистый мужчина с седыми усами, кажется, профессор. Манеры у него были совершенно не учительские — на стул он садился верхом, нос утирал рукавом и порой не стеснялся залепить совершенно непечатное слово. Но эрудит был отменный и лектор блестящий, школьной программой себя не особенно связывал и обрушивал на нас тьму сведений, которые не найдешь, наверное, и в университетских курсах. Например, по поводу «Горе от ума» подробно рассказал о грибоедовской Москве, и чем ее дух отличался от петербургского, и какие были тогда клубы, и какие в каждом клубе были обычаи, и кто были прототипы грибоедовских персонажей — с подробными биографиями и анекдотами из их жизни. В девятом классе обещал еще более интересный курс, — но в девятом классе он не появился, и позже мы узнали, что он оказался немецким шпио-

ном — в переводе с языка советского военного времени это означало, что его арестовали...

Непохож на обычный школьный был и состав учащихся. Детей из рабочих или вообще из простых семей, обычно составляющих школьное большинство, почти не было, были интеллигентские дети, как я, или более высокой марки — профессорские, дети оставшихся в Москве дипломатов, дети каких-то темных дельцов-спекулянтов, и, наконец, продукт военного времени — пытавшиеся прикрыть экстернатом свой истинный социальный статус профессиональные проститутки. Из последних некоторые были разоблачены на попытках соблазнить преподавателей, остальные, естественно, отсеялись на первой же экзаменационной сессии. Должен отметить, что в этот трудный первый военный год у меня как-то не было потребности сходиться со своими сверстниками, — не знаю, происходило ли это из-за трудностей быта, или из-за интенсивной внутренней жизни, или из-за физиологического состояния, вызванного застарелым недоеданием. Но в экстернате я был гораздо более нелюдим, чем раньше в школе, и позже — в институте, и о конкретных личностях среди моих соучеников по экстернату очень мало мог бы рассказать, даже если бы хотел. Мне кажется, что экстернат вообще резко отличался от школы отсутствием в нем общей жизни, что он был сборищем, а не коллективом — но, может быть, в этом я и не совсем прав, а проецирую на экстернат свое собственное тогдашнее настроение.

И, конечно, совсем не похожими на нормальную школу были внешние аксессуары, вызванные военным временем. На занятиях сидели в шубах и шапках, а пузырьки с чернилами старались держать за пазухой, чтобы они не замерзли (чернила, кстати, изготавливали сами, разведя в спиртовом растворе бельевую синьку). Естественно, экстернат отличался от школы — в лучшую сторону — отсутствием всякой формы и посто-

ронних, непосредственно к учению не относящихся формальных требований.

Немного о мелочах нашего тогдашнего быта, о недоедании и очередях, о морской капусте и сахарине.

Настоящего голода, как в Ленинграде, в Москве не было, а только хроническое недоедание, особенно первые два года. Интеллектуальная активность, неразрывно связанная в моих воспоминаниях с военным временем, имела дополнительный материальный стимул: читать, думать, учиться, писать стихи — всё это помогало отвлечься от мыслей о еде.

В нашем семействе с того времени, когда недоедание стало ощущаться, было введено правило: любая еда, попавшая в дом, за вычетом Топкиной доли, скрупулезно разделялась поровну между членами семейства, и делиться с кем-нибудь своей долей было категорически запрещено. На таком порядке настояли мы с братом, так как иначе взрослые стали бы подкармливать нас в ущерб себе. Тетя Наташа иногда нарушительствовала, тайком от нас подкармливала из своей доли Топку — и когда мы ее ловили, то учиняли скандал. Серьезное нарушение позволила себе однажды мама — принеся откуда-то кусок мяса, она категорически отказалась от своей доли, ссылаясь на расстройство желудка — и осталась тверда, несмотря на все наши настояния... Уже после войны она призналась, что накормила нас в тот раз собачатиной.

Морская капуста — это тихоокеанская водоросль. Уходя из Карповского института, мама притащила огромный мешок морской капусты — точнее, выжимок от нее, оставшихся после извлечения из нее йода для химических целей. В сущности, это была почти чистая клетчатка, не содержащая никаких питательных ингредиентов. В течение почти года мы добавляли эту клетчатку, как балласт, в любую еду. Припоминаю сейчас наше пасхальное пиршество весной 1942

года — с «пасхой», «куличами» и даже «пасхальными яйцами». Все это была почти чистая морская капуста, спрессованная в соответствующую форму и чем-то подкрашенная в должный цвет.

А сахарин — это добываемое химическим путем вещество в виде мелких прозрачных кристалликов или белого, иногда желтоватого порошка, в 300 раз более сладкое, чем сахар. Кристаллик сахарина, с булавочную головку, растворенный в стакане воды, вызывает такой же вкусовой эффект, как и большой кусок сахара. Но никакой питательностью он, конечно, не обладает, и только обманывает своей сладостью ожидающий сахара организм. При долгом употреблении сахарина вместо сахара организм распознает обман, и его чувствительность к сахариновой сладости притупляется. Чтобы поддерживать то же ощущение, сахарина, как наркотика, требуется все больше и больше.

Я уже упоминал, что тетя Наташа работала на сахариновом заводе — и сахарин в нашем доме был единственным ненормированным продуктом, всегда имеющимся в изобилии. И мы потребляли его в неумеренных дозах. Сахарин считается безвредным, но обладает одним физиологическим свойством: он сильное мочегонное. С этими свойствами сахарина связано в моей памяти множество мелких, непрезентабельных и мучительных воспоминаний военных лет. Стоять в многочасовых очередях и без того малоприятное занятие. Но если вдобавок каждые полчаса вам необходимо бегать в уборную, которой поблизости нет, — тогда это занятие превращается в позорную пытку, которую трудно представить себе не испытавшему.

А в очередях я провел, наверное, многие тысячи часов военного времени — за продуктами, объявленными по карточкам, за мерзлой картошкой на рынках, а к концу войны — за дополнительными пайками, к которым мама получила доступ, вернувшись на работу в Карповский институт после его возвращения из

эвакуации; провел просто стоя за кем-то и перед кем-то, и занесенный в списки, и с трехзначным номером, нанесенным на руке чернильным карандашом, — провёл и читая книги, и сочиняя стихи, и просто наблюдая публику. И когда впоследствии у ревнителей чистоты русского языка — Корнея Чуковского, Льва Успенского и других — я читал грозные филиппики против часто задаваемого в очередях вопроса «кто крайний?» вместо «кто последний?» — мне всегда хотелось их спросить: «А в страшных очередях военных лет вы сами когда-нибудь стояли?»

Потому что у такой огромной, разбухшей, неподвижной очереди только в идее, в воображении, была последовательность, а на глаз, зримо, — был именно край, единственный край, к которому вы могли подойти, — а другой, вожделенный, был удален на десятки метров непроходимого расстояния и многих часов стояния — ибо в такой очереди, опять же точность народного языка, зримо именно стояли, а не двигались, как стоит, а не двигается, часовая стрелка...

В самом начале зимы 41-го года я как-то выскочил в булочную за хлебом, забыв захватить перчатки. Мороз был небольшой, около десяти градусов, булочная находилась через улицу почти напротив дома, и обратно с тяжелым мешком в руках я пробежал так быстро, как только мог. Но для ослабленного недоеданием организма этого оказалось достаточным. Я вернулся домой с обмороженными, почти вдвое распухшими пальцами — отмачивая в теплой воде, я подлечил их в несколько дней. Но с тех пор при малейшем охлаждении они стали распухать снова — и с этой легкой обмораживаемостью я промучился все военные годы. От того же страдали и брат, и мама, и тетя Наташа.

Но что удивительно — за все годы недоеданий никто из нас ни разу не заболел даже обыкновенной

простудой. Для объяснения этого явления мы даже придумали теорию: ввиду опасности для ослабленного недоеданием организма любой инфекции, он с особенной силой мобилизуется против самого ее проникновения. Возможно, медицина знает и более научное объяснение.

Самым любимым товарищем моего детства был мой двоюродный брат Коля, сын старшей сестры отца. Несмотря на разрыв с отцом, мама сохранила близкие отношения с остальными членами семейства Подъяпольских, перебравшихся после смерти Петра Павловича из Саратова в Москву. Особенно любила она свою свекровь, а мою вторую бабушку Варвару Андреевну, или «Балюлю», как прозвал ее маленький Коля. Думаю, впрочем, Балюлю любили все, кто ее знал, — была она человеком удивительной доброты и мудрой душевной теплоты.

Балюля слегла в параличе одновременно с бабушкой Анной Владимировной, но умерла гораздо быстрее, через несколько месяцев. Часть времени нашего бездомного мыкания мы — мама, брат и я — прожили вместе с Колей в опустевшей огромной комнате Подъяпольских в Новинском переулке, бывшей мастерской какого-то художника с окном во всю стену, и особенно сблизилась с Колей за это время. У меня никогда не было особой склонности к сотворению кумиров, подражанию кому-либо или попаданию под влияние — и только относительно Коли я могу сделать, пожалуй, исключение.

Он был очень живым, пытливым, умным и талантливым мальчиком, с рано пробудившимся интересом ко всему на свете, с богатым воображением и чувством юмора. Когда-то, еще в возрасте детских страхов, я очень боялся мамонта с картины Васнецова про каменный век. Узнав об этом, Коля тут же посвятил мамонту специальный выпуск домашней стенгазе-

ты, где был нарисован очень смешной и совершенно не страшный мамонт и были очень веселые и совсем не обидные стихи, начинающиеся словами: «Снится Грише страшный сон: подошел к кровати слон...» Газета тут же исцелила меня от страха перед мамонтом, чего взрослые своими уговорами никак не могли добиться.

Стихи — и не только шуточные — Коля начал писать очень рано, и очень много знал на память. Он первый открыл для меня Есенина и Блока. Из его серьезных детских стихотворений я сейчас больше других — к сожалению, не целиком — помню одно, написанное еще при жизни Балюли, то есть в возрасте около четырнадцати лет: «Холодно, голодно люду рабочему, вечно пустое нутро», но иногда выпадает удача: «строить решили метро». И рабочий люд нанимается на строительство, и пока оно продолжается, он сыт и одет и относительно благополучен. А когда строительство закончено, он опять попадает на улицу, и опять ему холодно и голодно, и «снова пустое нутро». И совсем бы ему пропадать, но тут «к счастью, ломают метро». И с той же покорностью, с которой строил, «рабочий люд» уничтожает «плод своего же труда». Стихотворение называлось «В Америке» — но Коля тут же пояснил, что заглавие дано для отвода глаз, а в действительности речь идет о разрушении только что построенного вестибюля станции метро «Смоленская» на Садовом кольце. Четырнадцатилетним мальчишкам в наш век об отводе глаз приходилось думать.

В начале войны Коля с матерью уехал в эвакуацию в Среднюю Азию — и оттуда присылал нам длинные и очень интересные письма. Были там и живые, рельефные описания азиатского колорита и эвакуационного быта, и новые стихи — еще не совсем взрослые, но уже и не вполне детские, с начинающим отшлифовываться собственным голосом; и рассужде-

ния о тайнах профессионального мастерства, что для меня тогда было особенно интересно. Писал Коля и о своих общих жизненных планах, о том, что после войны он хотел бы стать геологом, с тем, чтобы свободное время посвящать литературе, — программа, отчасти осуществить которую довелось впоследствии мне.

Осенью 1942 года Коля от Тропического института, где работала его мать, ездил в экспедицию на ловлю каких-то moskitov — там же, в Средней Азии. Прямо из экспедиции его и забрали в армию и направили в военное училище в город Мелекесс (в Заволжье) для короткой подготовки перед отправкой на фронт. Из Мелекесса он прислал необычно короткое, но довольно бодрое и не без юмора письмо — о том как их, новобранцев 1924-го года рождения, везли чуть ли не месяц из Азии в телячьих теплушках, и как в дороге они «голодали, холодали и обовшивели».

Письмо это оказалось последним. Мамин ответ на него вернулся нераспечатанным с лаконичной карандашной пометкой «за смертью адресата». Известие было настолько неожиданным и не вмещающимся в сознание — отчасти именно потому, что несколькими неделями позже оно стало бы чересчур вероятным — что мы с мамой даже заподозрили чью-нибудь злую шутку, гадая в то же время, что же могло случиться: не доучив, бросили на фронт? Но кто мог бы тогда знать в Мелекессе о дальнейшей Колиной судьбе, а если бы письмо поехало за ним вслед, то на нем появились бы какие-нибудь печати полевых почт, да и вернулось оно чересчур быстро. Немцы бомбили Мелекесс? Но вряд ли мог заинтересовать их в разгар грандиозной битвы под Сталинградом заштатный заволжский городишко. Да и от бомбежек полагается гибнуть, а не просто умирать, как в мирное время...

Мама послала запрос в Мелекесское училище — и от безымянной медсестры тамошнего госпиталя мы

получили письмо с подробным описанием Колиной болезни, мучительной агонии и смерти, не оставлявшее места ни для каких иллюзий.

Диагноз болезни, видимо, так и не был поставлен — списали и все. Не до того тогда было... Я лично предполагаю, что во время своей москитной экспедиции Коля подцепил какое-то из редких и малоизученных среднеазиатских заболеваний — впоследствии в Средней Азии мне довелось столкнуться с похожими случаями таинственных болезней и смертей, когда поставить диагноз и что-либо сделать оказывались бессильными светила медицинской науки в неизмеримо более благоприятных условиях мирных лет и оснащенных по последнему слову техники клиник...

Колина смерть была самой тяжелой травмой моей юности, надолго оставившей кровотокащий след. Страшно потрясла она и маму, очень любившую Колю. Для нее потрясение усугублялось еще и тем, что в Колиной судьбе она увидела предзнаменование судьбе собственных детей. Тревога, что я или брат попадем на фронт и погибнем, не покидала ее с самого начала войны — после Колиной смерти тревога переросла в почти болезненный постоянный страх.

Не думаю, однако, чтобы этот мамин страх заметно повлиял на мое отношение к войне и моему возможному в ней участию. К сорок третьему году, когда вопрос об участии сделался актуальным, в моей голове накопилось достаточно собственной шелухи, чтобы эгоистически руководствоваться именно ею, а не мамиными переживаниями. В то, что я назвал шелухой, входило: и вера в свое особое призвание — не очень конкретизированное, но с безусловным прицелом на послевоенное будущее; и мистическое ощущение (а война предрасполагала к мистицизму), что Колиной смертью наложено на меня некое высшее обязательство что-то сделать в сем мире не только за

себя, но и за него; и многое другое, чего я теперь уже и не упомяну. И если практические выводы из моей шелухи и маминого страха совпали, то, вероятно, не из-за их непосредственного взаимодействия, а из-за их общей более глубокой социально-психологической основы.

Практический же вывод был такой: на фронт я не рвался, и со спокойной совестью воспользовался легальной возможностью избежать фронта и вообще армии, которую в момент величайшей войны в истории предоставило мне наше удивительное государство — в виде институтской брони.

Как мне сейчас представляется, прямой страх гибели на фронте не имел для этого выбора существенного значения. В шестнадцать лет даже в войну, даже после смерти любимого двоюродного брата, возможность собственной гибели не воспринимается всерьез — существом, а разве что — умом. А для ума возможность гибели отнюдь не порождается, а только увеличивается фронтом — она существует и в мирное время под колесами транспорта, и в войну в пределах воздушного фронта — от бомбы или шального осколка, да и мало ли когда и от чего. Война — да и не только война — естественно породила фаталистическое мироощущение, или, может быть точнее, ощущение зависимости своей жизни от чуждых нам механизмов с неконтролируемым и непредсказуемым поведением.

Если говорить о страхе, то гораздо весомей был для меня тогда другой страх — армии как таковой, то есть муштры и зависимости от всевозможных начальников. В этой области к небольшому опыту токарной мастерской у меня прибавился в начале 1943 года новый: как вероятный призывник очередного набора, я должен был пройти всеобщее военное обучение (всевобуч) при райвоенкомате.

Три раза в неделю по четыре часа по вечерам — мне приходилось пропускать последний урок в экстернате — нас, будущее пушечное мясо, обучали искусству маршировать, поворачиваться и становиться смирно и вольно, а также собирать и разбирать винтовку. Два раза для разнообразия ходили мы на стрельбище и палили — то есть, конечно, мазали — в цель (по два патрона на рыло), да однажды бегали наперегонки и швыряли гранату — в последнем я продемонстрировал потрясающее неискусство. А еще однажды была лекция о том, что под минометным огнем идти вперед безопаснее, чем отступать — сведение, пользу которого я оценил много позже. Словом, обучали нас с усталым безразличием конца второго года войны, абы поставить галочку «обучен» и в ускоренном темпе бросить на фронт, — а там, кому повезет, сами доучатся настоящему солдатскому ремеслу...

Не способствовали энтузиазму и патриотизму и простые, бьющие в глаза, реалии окружающей жизни. Москва из полуосажденной понемногу превращалась в просто тыловой город — и ее изнанка выглядела отнюдь не презентабельно. Процветали материальная обывательщина, склоки из-за пайков, взяточничество и спекуляция. Патриоты социалистического отечества не только устраивались безопасно сами, но и — пример экстерната — оберегали от фронта свое потомство. И — сверх всего — была просто физическая усталость, вызванная двухлетним недоеданием, тяготами быта и интенсивностью развития.

Но все перечисленное имело второстепенное значение. Главным — я не уверен, что тогда оно четко формулировалось, но присутствовало в подсознании безусловно — оставалось и инициировало и мамин страх, и мои фантазии — одно: война шла между Сталиным и Гитлером, за рабство коммунистическое против рабства фашистского. Она не была войной за правду и свободу, нашей и моей войной.

И — непоследовательно — начавшимся в сорок третьем году победам радовались не без шепотки патриотизма: «наши побеждают». Но более потому, что победы приближали конец ненавистной войны. Искренне негодовали на союзников за оттяжки второго фронта и ощущали подавленное разочарование, когда, в сорок четвертом, вместо быстрейшего наступления на Германию «наши» занялись завоеванием для коммунизма Балкан.

И по мере того, как все яснее вырисовывалась окончательная победа (казавшаяся более близкой, чем в действительности), мысли все чаще забегали за этот прикрывающий будущее рубеж: а каким он окажется, послевоенный мир, в котором мне предстоит жить? Вызовет ли крах античеловеческого партийно-бюрократического рейха трещины и в нашей античеловеческой партийно-бюрократической диктатуре — или она еще более укрепитя выигранной войной? Но и тревога, и надежда были смутными, и я их формулирую сейчас, наверное, более определенно, чем смог бы тогда.

Конечно, и тревоги, и надежды были пассивные, как тому и следует быть по катакомбной теории. Ощущал ли я тогда неудовлетворенность той уклончивой, избегающей опасностей и острых углов линией поведения, которой начинал самостоятельную жизнь? Мне трудно ответить сейчас на этот вопрос, потому что слишком легко спроецировать на те годы мысли и чувства более поздних лет. Не будучи никогда сознательным приверженцем катакомбной теории, я все-таки с детства проникся катакомбной психологией, может быть, не вполне отвечающей моей натуре, но естественной для меня по социальному статусу. И, видимо, явных конфликтов с этой естественностью у меня тогда не было.

И все-таки... да, на уровне практической жизни — не было. Но в стихах, полудетских стихах именно со-

рок третьего года появился почему-то мотив борьбы, мотив, конечно, абстрактный и платонический, и я не возьму на себя смелость утверждать, что глубокий. Но в нем я слышу сейчас пусть не осознанную, но несомненную реакцию на катакомбное бытие. И если явного, на уровне болящей совести, конфликта тогда не было, то все-таки налицо было двойное мышление, несоответствие между реальной и идеальной жизнью, казавшееся тогда естественным по более широкому статусу не только интеллигента, но гражданина тоталитарного государства.

И вполне соответствующим двойному мышлению был мой последний и главный выбор военного времени — выбор профессии. С вполне определившейся к сорок третьему году гуманитарной внутренней направленностью, я без каких-либо колебаний поступил в технический институт в полном сознании неизбежности такого выбора — и лишь в небольшой степени допустил следование своим наклонностям, остановившись на геологии как наиболее естественно-исторической из технических специальностей. Влияние на выбор оказали, конечно, и некоторые привходящие утилитарные соображения — и то, что Нефтяной институт давал освобождение от армии, и даже то, что он находился в десяти минутах ходьбы от дома, неизмеримо более сильное и общее влияние — неосуществленная Колина мечта «быть геологом, а для души заниматься литературой». Но думаю, и без давления обстоятельств военного времени, и без Колиной программы, мои программа и выбор остались бы теми же.

Потому что невысказанная в Колином письме поправка его жизненной программы была мне в мои неполные семнадцать лет предельно ясна — как, очевидно, и ему тоже. Выбирать гуманитарную профессию в тогдашнем, достаточно понимаемом нами, мире означало либо излыгаться с самого начала, продавая на каждом шагу высоко ценимую нами душу, либо,

с того же начала, вступить с этим миром в неотвратимый конфликт с не «фифти-фифти», как на фронте, а со стопроцентной вероятностью гибельного исхода. И мы, мудрые интеллигентные мальчики, чающие себя поэтами и пишущие посредственные стихи о красоте борьбы, естественно, уклонялись от такой альтернативы и выбирали более легкое и почти не казавшееся нам неестественным раздвоение между необходимой для жизни профессией и скрываемой в катакомбе до лучших времен тайной жизнью своей души. И в мудрости нашей мудрости мы тогда не сомневались.

Но сейчас, возвращаясь мысленно к тем временам, я почему-то не так убежден в мудрости мудрости — может быть, потому, что знаю теперь больше, чем тогда, в том числе и о не столь мудрых тогдашних мальчиках, не уклонявшихся от альтернативы и получавших высшие — двадцатипятилетние — оценки своих дипломных работ...

Зоя АФАНАСЬЕВА

«ОТЕЧЕСТВО НАМ — ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Эта подборка стихов Зои Афанасьевой (р. в 1938 г.) — из первой части ее первой книги стихов, которая готовится к изданию в серии «Библиотека современного поэта» (изд-во «Ритм», Париж).

Афанасьева — один из поэтов, принадлежавших к кругу недавно умершей Т. Г. Гнедич (в числе учеников Т. Г. Гнедич, поэтов и переводчиков «царскосельского круга» были А. Щербаков, В. Бетаки, Г. Бен, И. Комарова, Г. Усова, а позднее — О. Охапкин, Ю. Вознесенская, К. Кузьминский, Б. Куприянов, Ю. Алексеев).

В СССР З. Афанасьева публиковалась в основном как искусствовед. — Р е д.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СТИХИ

Мне говорят — свобода,
Но что мне делать с ней?
Толочь ли в ступе воду
Среди трудов и дней?
Что было — то уплыло,
Полынью поросло.
Какой нечистой силой
Вас мимо пронесло?
Я не кричу — останьтесь,
И савана не шью,
С моих небесных станций
Вам позывные шлю...

2

Я выпала сегодня из гнезда
Нелепого пристанища Петрова.
Воскресная опавшая звезда
В руке горит рождественской обновой.
Но старцев запоздалые дары
Суровый храм отныне не приемлет,
Да здравствуют среди чумы — пиры,
Хворобой унавоженные земли!

Нет возвращенья к птичьему житью,
К пернатому посконному гнездовью...
Смирненную и постную кутью,
Мою надежду и одежду вдовью —
Нет, не вмещает опустевший храм:
Взалкали перетруженные своды.
Но праздничный пронзителен хорал,
Как в первый день, в последний день свободы.

3

С карточки смотрит девочка
В придурковатой мгле.
Простоволосой ведьмочкой
Скачет на помеле,
Прошлое нас не мучает,
Времени мрачен спектр,
В небытие дремучее
Двигается твой проспект...
Дом на ветру сутулится,
Дочки твои растут,
Чью-то другую улицу
Ольгинской назовут...

Там, за ее границами,
Чудо из всех чудес:
Горько воспетый птицами
В трауре зимний лес.

4

Не мне «глядеть в глаза семи морей».
Смотрюсь в одно единственное море.
Как в зеркало слепой судьбы моей —
Не спрашивай, любимый, о Босфоре.
Державен дух, но — горе! — плоть хрупка,
Так инородно собственное тело,
Что чужестранкой правая рука
Всё норовит сместиться круто влево.
Подводным рифом ранена ступня,
Бродяжий посох вдруг не зацветает,
Тень Судного спасительного дня
Над хатой чернокнижника витает.
Как глянешь ты в глаза семи морям?
Я в черноте все очи проглядела...
Спит бакенщик. Ослеп его маяк.
Жизнь коротка, а ночи нет предела.

* * *

Не подавай руки мне, брат,
Не дай себя на поруганье,
Пусть за решеткой райских врат
Пойду, как девка, по рукам я,
А ты в ознобе не стенай,
И рук заламывать не надо,
Я — истина. И мой Синай —
Вдали от блеющего стада.

Я отступлю за горизонт,
 И превращусь в фата-моргану...
 На твой китайский яркий зонт
 Небесная струится манна.
 Так подставляй ладони, брат,
 Носи мешками Божью милость.
 Пора бы парус вверх, пират,
 Пока я в трюм не просочилась!

* * *

Душа бела, как лазарет,
 Но чистота ее простынная
 Меня пугает. На заре
 Проснусь однажды и застыну я
 В немом больничном удивлении
 Пред белизною снегопада...
 Снег будет падать, падать, падать
 В одном и том же направлении...
 Потом, достигнув подоконника,
 Он медленно вползет в палату,
 И с неба сорванными комьями
 Положит на душу заплату.
 И опустеет лазарет,
 Когда душа, вконец измучась,
 Надеясь на счастливый случай,
 Из тела выйдет на заре.

* * *

Особняки стояли обособленно.
 И каждый был голландским садом скрыт.
 В особняках мне нравилась особенно
 Парадность лестниц и галантность крыш.

Но был один любимый и взлелеянный
В скитаньях по дремучим городам:
Петровскими дышал он ассамблеями
И век свой невеселый коротал.

* * *

Здравствуй, мой прадед, маэстро Джакомо Кваренги!
Лысый уродец в лисьих мехах нараспашку.
Русский Версаль, голубая мечта экскурсантов,
Ворс на коврах и роса на цветочных партерах,
Тени гусаров и марши военных курсантов,
Стойка буфетная — белое море портвейна...

БАЛЛАДЫ ДЛЯ МАЙИ

1

И ты была при море и при небе,
Была при звездах, как при орденах,
Была при людях, при любви, при хлебе,
При вкусе волн соленых на губах.
Была при белой раскаленной суше,
Где сохнет на песке рыбацья сеть,
Где воздух к ночи становился суше,
А ночь была огромнее, чем смерть.
Там медное казарменное солнце
Будило спящих о шестом часу
И проникало в кровь твою, как стронций,
И сон дрожал, как капля на весу.

Плечей мельканье, солнцем обожженных,
 Плененье тел бесхитростных и душ —
 Был четок их рисунок обнаженный,
 Как на бумагу пролитая тушь.

И ты была при море... Но однажды
 Все души оказались при телах,
 При хлебе, при любви остался каждый,
 При камне — берег, море — при волнах...
 И ты спешила к своему причалу.
 Садилось солнце и туман седел.
 Плыл твой корабль. И чайка закричала,
 А ты была, как прежде, при себе.

2

Перебираю пыльные кораллы,
 В дырявую их прячу кисею
 И вспоминаю, как ты потеряла
 Страну свою, Шотландию свою.

Вручили нам такое королевство,
 Которого не любят короли:
 Оно не переходит по наследству,
 А только, знай, сжигает корабли.

Такое бы хорошему монарху
 В делах державных знающему толк —
 Он храм подарит каждому монаху,
 А каждой келье — пол и потолок.

Но тем твое правление сурово,
 Что дышит неоконченной главой...
 На полуслове умолкаю снова —
 Летит корона вместе с головой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как известно, большая часть поэтов нового поколения (тех, кто сформировался к концу шестидесятых годов) не публикуется в СССР в основном потому, что с самого начала они поняли: публиковаться в журналах, а тем более издавать книги — означает идти на компромисс с государственно-партийным аппаратом. Это поколение поэтов родилось в самиздате и продолжает в нем жить, продолжая культурную традицию, подчеркнута находясь вне всякой политики, игнорируя то, что именуется «советской действительностью». И такие поэты кажутся власти опаснее, чем оппозиционно настроенные поэты предыдущего поколения. В этом смысле нынешние раздражают ее так же, как в свое время раздражала Анна Ахматова. Ситуация «сорок седьмого года» повторяется, но с той разницей, что решиться на новую «ждановщину» уже нелегко — сил поубавилось. Да и изничтожать поэтов стало куда труднее — ведь они и не претендуют на то, чтобы печататься в официальной прессе, они знают — читательский вкус безошибочно отберет всё то, что стоит внимания. И степень распространения прямо зависит от спроса. Так, явочным порядком осуществляется популярность поэта. Связь между читателем и поэтом теперь непосредственная. Положение, о котором еще говорил Маяковский — «Между читателем и писателем стоят посредники, а вкус у посредников самый средненький», — в корне изменилось. Стихи поэтов переписываются, расходятся и чаще всего разными путями доходят до зарубежных журналов и издательств.

Один из таких поэтов — Зоя Афанасьева. Традиционный царскосельский дух, пронизанный Пушкиным и Ахматовой, лирическая стихия начала прошлого и начала нынешнего веков сливаются в ее стихах. Но они окрашиваются ощущением той духоты, которой в те периоды поэты не чувствовали.

Тлетворен воздух Царского Села.
Тяжеловесна стала Каллипига.
Несет меня та самая квадрига,
Что Чаадаева с ума свела
Под грохот маршей Царского Села.

Память этих мест, города, в котором расцвела самая блистательная эпоха русской культуры, становится небывало горькой, и лиризм этой горечи — главная пружина внешне спокойных, мелодичных и как бы камерных стихов Афанасьевой. Преемственность не декларирует громко, она грустно осознается. Но только вместо титанов прошедших времен — измельчание. Над троним императорской России «потешно петушиное крыло». Империя с петушиными крыльями, империя шутов, где вместо николаевского чугуна — хлестаковский петушиный хвост. Но империя Хлестакова не только жалка и смешна, — на деле она куда более удушающа, чем николаевская.

И Петербург — традиционный, классицистический — в стихах Афанасьевой оборачивается почти пародийной своей стороной, но эта пародийность — не шутка, не насмешка, а горькая ирония над собой, своим поколением, своим веком — веком Хлестаковых на троне...

Бога Феба печальные спицы,
Паутина над заревом лет,
Золотой европейской столицы
С горьким привкусом диалект,
Диалектики вольные воды,
Смертоносной цикуты вино,
В тонкой капсуле семя свободы
От рожденья мне было дано...

Это семя свободы, сохранившееся в самом воздухе города, в его стенах и его деревьях, в его парках и вольнодумстве аллей, где никто не услышит — неуничтожимо: «Этой нити теперь не порваться, и дрожит на конце узелок. В жгучем сумраке трех реформаций в изголовье горит Козерог». Но всё то, что для поэта сконцентрировалось в понятии Царское Село — двухвековая новая русская культура — ощущается под угрозой опошления. Отсюда и стихи, в которых разъедающая ирония сопряжена с лиризмом, и от строки к строке то лиризм, то ирония как бы отталкивают друг друга и вместе с тем повязаны — строка лирическая всякий

ГРАНИ

раз рифмой скована со строкой иронической, как Царское Село — символ русской культуры — сковано с нынешним опошлением ее:

Тени гусаров и марши военных курсантов,
Стойка буфетная, белое море портвейна...

Василий Бетаки

ЗАВЕЩАНИЕ

В ночь на Пасху старика не стало. Домочадцы приняли это как доброе предзнаменование, которого с нетерпением так долго ждала вся семья: наконец-то отмучился человек, и в канун Своего воскресения взял его Бог к Себе.

День начинался неистовым пасхальным звоном треснувшего колокола в убогой бревенчатой часовенке на краю села, радостно верещали вездесущие воробьи, подбирая крошки куличей, и теплое майское солнце билось в стекла, зажигая окрашенные яйца огоньками радуги.

А в доме покойного диким, душераздирающим воплем, похожим на предсмертный вой собак, искренне голосила дочь его Авдотья, втайне про себя надеясь, что не обошел покойный их в завещании, хотя не раз в пылу ссоры жутко грозился: «Вот погодите, изверги, умру — ничего не оставлю».

Где-то внутри копошилась досада на него, что он не нашел другого времени умереть: теперь весь праздник пошел насмарку. Но чувство облегчения, подобное с плеч свалившейся тяжести, наполняло Авдотью тихой радостью и умиротворением. И громче взвивался истошный вой.

Сорванцы-дети, обычно ходившие на голове, попритихли, забились по углам и, ничего не понимая в

* Рассказ взят из самиздатовского сборника (Москва, 1975), художник, редактор и автор которого — автор этой публикации В. Гаврилов, в настоящее время находящийся за границей. — Р е д.

происходящем, со страхом смотрели на неподвижное тело деда, над которым совсем недавно было так весело проказничать. Теперь же он важно и неподвижно лежал на столе посреди комнаты, упакованный в деревянный ящик, и то ли спал, то ли притворялся, было непонятно и оттого еще страшнее.

Только зять не потерял присутствия духа — он сразу же вызвал фельдшера, который официально засвидетельствовал естественную смерть в связи с преклонным возрастом; детей, чтобы не пугались мертвеца, увел к родным и поручил их попечению, а также пригласил ветхих старух, неизменных участниц всех похорон.

Не теряя понапрасну времени и привычно переворачивая тощее, сухое, старческое тело, словно восковую куклу, на длинном столе, они обмыли его, облачили в чистое белье, давно припасенное покойным на этот случай, связали платком ноги, подвязали челюсть, чтобы не открывался рот, уложили руки на животе, вставили меж пальцев тоненькую восковую свечку, накрыли веки медными пятаками и ушли, скромно и незаметно.

И остался седой благообразный покойник на столе в простом, плохо оструганном гробу, украшенном сосновыми ветками да мерцающими по краям длинными, как спицы, свечками. Откуда-то появился черный монах, зажег едкий ладан и, став у изголовья покойного, нараспев забубнил что-то себе под нос.

Приходили соседи. Старики молча трясли головами и мрачно вздыхали, может быть, предчувствуя и свой конец; старухи прикладывали уголки черных платков к мокрым глазам и тихо шептали молитвы; молодежь беззастенчиво, с жадным интересом разглядывала мертвеца и вполголоса обсуждала свои впечатления.

Было душно, появились мухи, и труп, пролежавший таким образом два дня в жаре, покрылся зелеными

пятнами и начал разлагаться. Веки, наполненные трупной зеленью, набухли и раздулись, губы вывернулись, из носа и рта потекла грязно-бурая жидкость. В комнате повеяло пронзительно-тяжелым трупным смрадом.

Зятья посоветовались и решили хоронить его, не дожидаясь приезда сыновей, которым давно уже отправили срочные телеграммы с извещением о смерти. На третий день Пасхи пришли друзья покойного, собрались родственники и соседи. Открытый грубо сколоченный сосновый гроб уже стоял во дворе и над ним совершались последние приготовления. Затем четверо мужчин поддели его полотенцами и понесли в тесную кладбищенскую часовенку, где покойного отпели и представили Богу.

Наконец гроб вынесли, накрыли крышкой, наглухо заколотили толстыми гвоздями и на веревках спустили в глубокую яму, вырытую неподалеку, от которой остро пахло свежей весенней землей и дерном.

Обе дочери старика голосили тонко и надрывно, по заведенным обычаям; им вторили бабы и старухи, пряча лицо в платки, а мужики без шапок торжественно стояли вокруг и сосредоточенно наблюдали, как падают вниз комья земли, гулко ударяясь о деревянную крышку.

После того как яму засыпали доверху, на ней образовался небольшой холмик в виде гроба. В изголовье его поставили самодельный крест, крашенный белой краской с крупно написанным именем раба Божьего Макара. Дочери повыли еще немного, припадая к сырому холмику, потом их взяли под руки и увели. Народ стал расходиться. Только вороны, встревоженные толпой народа, долго еще не могли успокоиться и громко каркали над редкой березовой рощицей, да суевливые воробьи бойко скакали на могиле.

К вечеру вся деревня собралась на поминки. Кое-как удалось рассадить гостей за сдвинутые рядами

столы. Несмотря на распахнутую настежь дверь и открытые окна, в доме было жарко, и уже после кутьи и второго обноса вином все присутствующие сильно захмелели и принялись чрезмерно восхвалять покойного, сквозь слезы вспоминая, каким хорошим он был человеком и сколько добра принес людям. Но не успели перебрать и половины его душевных добродетелей, как в комнату почти следом друг за другом ввалились сыновья, Иван и Алексей.

Старший, Иван, до того изменился, что никто из деревенских не признал его. Сначала в испуге подумали даже, что это какое-нибудь заезжее начальство. Он был толст, обрюзгл, с большим шарообразным животом, маленькими, жиром заплывшими глазками и пухлыми руками в лайковых перчатках. Добротное драповое пальто ладно облегало его бесформенную фигуру, огнем блестели лакированные туфли, испачканные местной глиной, а под мышкой у него был солидный кожаный портфель. Когда он снял перчатки, все заметили у него на правой руке массивный золотой перстень с драгоценным камнем.

Люди замешкались, засуетились, притихли. Одни услужливо подвигали стул важному гостю, другие робко принимали пальто и шляпу, а зять, начавший было долгую речь о своей любви к теще, поперхнулся и смолк, словно проглотил язык. Но когда приезжий просто и уверенно, подобно покойному отцу, зычным голосом рявкнул на родню: «Да что же вы, сукины дети, Ивана не узнаете!» — все тут же воспрянули духом, зашевелились, заохали, притворно заулыбались.

Собственно, Иван приехал вовсе не для того, чтобы поразить этих темных забитых людишек. Еще в детстве, бегая в одной рваной рубашонке по селу, он не раз слышал от людей: «Вишь, мальчонка-то, совсем голый бегаёт, а у отца, небось, тыщи лежат в подполье-то. Ну и скупердяй же этот Макар, прости,

Господи». И потом, когда он подрос, все вокруг в один голос утверждали, что отец его скопил огромные деньги и прячет где-то кубышку с золотом. Однако Ивану в то время наплевать было на отцовское богатство — его манила другая жизнь. Он всей душой стремился в столицу, которую понаслышке, а также по радио и газетам представлял себе чудом света. В конце концов он добился своего: выпросив у отца деньжонок, он покатил в Москву.

Много времени прошло с тех пор. Тяжело пожив и потаскавшись по свету, он стал ясно отдавать себе отчет в том, что такое жизнь, и прекрасно понял истинную цену денег. В ту пору, когда вокруг усиленно насаждали идеализм и материальную незаинтересованность, Иван покупал и продавал, никогда не упуская возможности украсть, обмануть, схватить взятку. Таким образом он выжил в те трудные времена, когда идеалисты и честные люди умирали от голода, нищеты и несправедливости.

Немало лет продержавшись директором московской столовой и делая бешеные деньги, он не был скопидомом и любил так же легко тратить их, как легко добывал. Женившись однажды ради прописки и получив развод, он уже никогда не повторял этот эксперимент, но его тяга к женщинам вызывала такие расходы, что он сам порой удивлялся своей щедрости. Кроме того, он был завсегдатаем самых дорогих ресторанов и азартным игроком, и, разумеется, приходилось тратиться на прислугу, содержание нескольких квартир, дач и автомобилей и прочие жизненные удобства. Поэтому, едва увидя извещение о смерти давно забытого отца, он тут же выскочил из своего кабинета, вскочил в такси и сломя голову понесся на аэродром, ни на секунду не забывая об отцовской кубышке и страхась стать жертвой обмана со стороны корыстной родни.

Второй сын, Алексей, был проще и сентиментальнее. Обосновавшись после войны в крупном промышленном городе, он обжился там, женился, получил трехкомнатную квартиру и нисколько не тужил о сибирской деревне, покинутой им в далекие годы юности. Теперь он выбился в люди, работал прорабом на стройке и, благодаря различным ухищрениям, имел приличные доходы, но человек — ненасытное животное, а у него было четверо детей; жена сидела дома, да вдобавок нужно было еще помогать теще и содержать любовницу.

Так что и ему телеграмма в первую очередь напомнила об отцовских деньгах, баснословном наследстве, достаточном, чтобы осчастливить его на веки вечные, хотя к этим трезвым мыслям примешивались небольшие угрызения совести — за долгие годы разлуки он ни разу не навестил отца и даже перед смертью не успел увидеть его.

«Ну что же, Бог простит, — невольно думал он, — кто бы мог подумать, что он умрет так скоро. А ведь я как раз собирался на будущий год приехать в гости вместе с женой и детьми...»

Он забыл, что, поговорив об этом, они с женой тут же передумали, решив купить модный немецкий гарнитур черного дерева за полторы тысячи, и все гадали, где бы взять недостающие несколько сотен. И вот нате вам — как с неба свалились. Пожалуй, если зятя не разворовали, то и на машину останется... А все-таки жаль отца — хороший был человек.

Обуреваемый такими надеждами, он прилетел одним самолетом с братом и не узнал его, пока следом не вошел в просторный рубленый дом, где прошло его невеселое детство.

Алексей казался оптимистически жизнерадостным мужчиной средних лет с доброй или лукавой улыбкой на худощавом, изборожденном глубокими морщинами лице. Одет был скромно, однако всё выдавало в нем

горожанина: и проглаженные в ровную стрелку брюки, и белая рубашка с узким черным галстуком, и аккуратная короткая прическа. Когда он разговаривал, то машинально поглядывал на большие ручные часы, что придавало ему необычайно деловой вид.

Встретившись, братья испытывающе посмотрели друг другу в глаза и, словно уловив одно и то же выражение, многозначительно усмехнулись, крепко пожали руки и три раза прохладно поцеловались, по обычаю.

Их усадили во главе стола.

Помянув добрым словом покойного родителя и выжав из себя скупую слезу, они решили, что достаточно исполнили свой сыновний долг, и жадно накинулись на водку.

Дед Макар почти всю свою горемычную жизнь прожил в глубокой северной глуши, о которой в русском народе существует совершенно неверное представление, выраженное поговоркой «куда Макар телят не гонял». А он самым преспокойным образом выпускал десять коров своего стада на широкие поляны с сочной травой, со всех сторон обрамленные непроходимыми дремучими лесами. Но коренным жителем этих лесов он не был.

Давным-давно, когда ему пошел двадцатый год, выселили его из Центральной России вместе с родителями за то, что отец его слыл опасным по тем временам человеком — кулаком. Правда, хозяйство у них имелось незавидное — тощая лошадь, коровенка, свинья да несколько десятин пахотной земли, но поскольку они отказались добровольно вступить в колхоз, то были объявлены злостными врагами народа, подлежащими конфискации всего движимого и недвижимого имущества и ссылке в места не столь отдаленные.

Вместо того чтобы умереть при переезде по глупым непролазным дорогам с голоду или от болотной

лихорадки, подобно многим товарищам по несчастью, все трое выстояли, а поселившись на новом месте, словно цепкие растения пустили корни в чужую почву, срубили себе высокую просторную хату, благо, леса было сколько душе угодно, переняли местные обычаи и нравы да так и прижились на богатой, плодородной, нетронутой еще алчными людьми земле вместе с другими, такими же обездоленными, но не сдавшимися собратями.

Новое селение состояло из двенадцати дворов. Большие, в несколько комнат, со светлыми окнами дома, окруженные высоким густым частоколом заборов, производили впечатление одиночества, замкнутости, отгороженности от мира. И не было здесь той непосредственной веселости и безалаберной беззаботности растительного существования, которая царила в русской деревне. Да и где это было теперь?

За три года суровой жизни в Сибири семья Макара достаточно обжилась, чтобы не обижаться на судьбу: пристроили к дому два сарая для лошадей и коров, рядом поставили свинарник с крупной маткой и полудюжиной поросят, а к нему прилепили птичник, переполненный курами, гусями и утками. Всё это добро обнесли крепким дощатым забором и во дворе пустили на длинной цепи злого кобеля. Казалось, смилостивился Бог над страданиями чад Своих и даровал им счастье.

Но однажды утром мать Макара, полногрудая здоровая женщина, которой едва перевалило за сорок, напилась ледяного кваску из погреба, а к вечеру занемогла, сделался с ней жар, она ослабела, слегла на лавку и спустя неделю померла, так и не приходя в себя. Доктора поблизости не было, а знахарка, жившая на отшибе, не помогла ни заговорами, ни кровопусканием.

Как гром сразил отца с сыном этот неожиданный удар. «Нет для нас милости Божьей, — мрачно заклю-

чил отец, — сколько бы мы ни страдали, а всё горе да беда», — и, бросив хозяйство на сына, стал как-то странно и непривычно задумываться, пока не пошел однажды зачем-то в сарай и не удавился на балке. Снова смерть посетила несчастный дом.

Оставшись один после похорон, сидел Макар у окна и растерянно смотрел на густозвездное небо, пышные ели, плотной стеной обступившие деревеньку, да редко горящие окна соседей, похожие на голодные волчьи глаза.

Как жить дальше, он не ведал и не мог себе представить. Подумал было сбежать в Россию, но вспомнил, что и там у него нет ни одной души. По дошедшим прошлого года вестям, в их деревне теперь заправлял смертельный враг его Васька-косой, вступивший в партию и выбранный председателем, а веселая разбитная девка Малашка, которую он до высылки думал посватать, пошла уже за кого-то замуж. К тому же за самовольное возвращение из ссылки обещана была властями суровая кара. Вот и получалось, что как ни крути, а выхода никакого нет.

С тяжелым вздохом тряхнул Макар кудрявой головой и лег спать на голых полатях, так ничего путного и не придумав.

Наутро он стянул со стены ружье и пошел в тайгу на охоту. Весь день хмуро бродил он по лесу, а вернувшись, обменял у соседа двух подстреленных соболей на самогон, растопил печь, напился, залез на полати и долго валялся в сизом тумане с тоской вспоминая прошлое и со страхом отгоняя мысли о завтрашнем дне. В сараях протяжно мычали недоенные коровы, тонко повизгивали голодные свиньи и жалобно выла собака во дворе.

А когда рассвело, он обошел хозяйство, выпустил кур во двор, подсыпал овес лошадям, неумело подоил коров, задал корму свиньям, а потом опять напился. И так продолжалось целую неделю.

Как-то проходил мимо его двора старец Никанор из раскольников, увидел пьяного Макара, отворил калитку, поздоровался и завел неспешную речь о погоде, хозяйстве и промысле Господнем, Который что бы ни делал, всё к лучшему.

— Потому человек никогда не должен терять образ и подобие свое, ибо придет время, и предстанет он перед ликом Божьим, и будет держать ответ за всё содеянное, за грехи свои и лиходейство. Что скажешь ты в оправдание, ежели начнет вопрошать тебя Господь — почему не ходил путями Моими? Зачем поддался лукавому? Разве найдется оправдание скотоподобию твоему, коли погрязнешь в пьянстве и мерзопакости?

— Да что же мне делать, дедушка, как жить-то одному бобылем неприкаянным?

— Все мы грешны, все мы ходим под Богом. За грехи наши и наказание Господне.

— Ну так мне только в петлю...

— Не богохульствуй, малый. Живи как все. Заповеди блюди. Бога не забывай. Хозяйство не распыляй. Заботься о каждой животинке. Авось Бог и пошлет тебе успокоение души.

— Да ведь нет мне никакого счастья.

— А ты выбери жену среди девок наших. Парень ты сильный, работающий, честный, вот и живи в труде да поте лица своего. Народи детишек, выходи, выкорми их, оставь заместо себя в мире — и будет тебе счастье. Тогда и предназначенье свое ты исполнишь, и на покой с чистой совестью уйдешь, и Богу угоден будешь... Так-то, мил-человек, Бог терпел и нам велел.

Словно огнем выжженные, остались эти слова в душе Макара. И хотя не сразу, но взялся он за ум, пересилил тоску свою и, воспрянув духом, повел самостоятельную жизнь, полную хлопот, тревог и лишений.

Сначала он подновил избу, покрыв ее новым тесом и побелив стены, потом смастерил различную мебель, чтобы не пустовал огромный дом, накрыл толстыми досками земляной пол и принялся высматривать девку поприглядней да похозяйственней, чтобы не сидела сложа руки да не плевала в потолок, как некоторые чересчур избалованные красавицы. К весне он остановил свой выбор на солдатской дочери и, зайдя погожим теплым днем в бедный неказистый домишко солдатки Матрены, прямиком и без околицы просватал ее меньшую дочь, справедливо полагая, что чем беднее девка, тем больше от нее проку.

А осенью сыграли скромную свадьбу, одну из первых в этом безрадостном поселении, окруженном непроходимыми лесами, в которых там и сям были разбросаны подобные поселки обиженных и озлобленных людей. Видимо, человеческая природа везде одинакова — не прошло и года, как в деревянной люльке, на веревках подвешенной к потолку, уже задумчиво попискивал толстый Макаров первенец.

Так и пошло. За двадцать лет супружеской жизни народилось у Макара десять детей, пятеро из них померли и остались три сына да две дочери. Были они крепкие, здоровые, старшие уже стали помогать по хозяйству, и, глядя на них, отец не мог нарадоваться. Ведь человек — что растение, одиноко ему в пустом поле, но окружи его ростками плодов его — и где только не приживется. А там смотришь — и целый лес зашумит.

Однако не суждено было Макару спокойно дожить до седых волос. Во время сенокоса жена его оцарапалась ржавой проволокой и не обратила на царапину никакого внимания, а через несколько дней умерла от заражения крови. Вспомнил Макара столь же внезапную смерть матери, и помутился у него разум: видно, проклял Бог этот дом.

Долго ходил он сам не свой, словно в каком-то жутком сне, не в состоянии отличить ночь ото дня, и уже покушался наложить на себя руки, да хорошо — старший сын Иван вовремя заметил его состояние, силой уложил в постель и приставил сестер сиделками.

Целый месяц провалялся Макар в бреду, ничего не ел и всё звал покойницу-жену. Никто уж и не надеялся, что он выживет. Но кризис миновал, сознание вернулось к нему и здоровье пошло на поправку. А вскоре он с прежним злым упорством взялся за работу, которой было невпроворот. Казалось, ничего не изменилось в жизни семьи, только в обед он постоянно выставлял возле себя пустую миску и ложку, а потом, спохватившись, убирал с горькой усмешкой, да в глазах его словно застыла маленькая льдинка.

И без того молчаливый, он теперь совсем замкнулся, и за несколько дней из него, бывало, не вытянуть двух слов. Он с головой ушел в хозяйство и за всеми этими хлопотами — пахотой, боронованием, сеянием, жатвой, молотьбой, отелом коров, опоросом свиней — за ежедневными нуждами и заботами не заметил он, как выросли дети.

Относясь к ним, как к части своего хозяйства, он никогда не задумывался, чем они живут, о чем думают. Сыты, одеты и хватит. Поэтому когда Иван, даже не предупредив отца, взял и уехал посмотреть Россию, а из Воронежа написал, что ему здесь нравится и в деревню он не вернется — это было жестоким ударом для Макара. Весь похолодел он, прочтя это письмо, и острая боль по новой утрате обожгла ему сердце, ибо как ни проклинал он сына после отъезда, а все-таки тайно надеялся, что вернется в отчий дом, возьмет на себя тяжкое бремя хозяйства, и не распадется семья, не пропадет добро, нажитое такими страданиями, не развалится дуб на корню. Напрасны были его надежды.

А вслед за старшим потянулся и второй, Алексей. Как ни уговаривал его отец, как ни увещевал, как ни угрожал — всё напрасно: уехал даже не попрощавшись, крадучись, словно тать в ночи. Оборвалось сердце у Макара и затосковал он, точно по покойнику плакал.

И впрямь нелегко ему пришлось: помощников не осталось, положиться было не на кого. Сам же он, хотя и в силе еще был мужчина, но уже перешагнул за пятьдесят и начал понимать, что не совладать ему с таким хозяйством, а оно было громадное — десять коров да пара телят, четыре лошади, шесть свиней, куры, утки, гуси, постройки, заполнившие весь двор: закрома, погреба, сарай, наполненные всякой всячиной и высокий дом в восемь комнат, похожий на вокзал, да еще огороды и фруктовый сад. Недаром соседи говорили, что дом его — полная чаша. Только невесело жилось хозяину этого дома, вот уже несколько лет не видел он своих сыновей и лишь время от времени получал от них однообразные письма о том, что живы-здоровы, живут в больших городах, работают на приличном месте, у начальства на хорошем счету и приглашают в гости, сами же приехать не могут за недостатком времени.

Как-то после очередного подобного письма Макар думал-думал и решил взять в дом зятя — как-никак, а мужские руки — большое дело, и вскоре сосватал старшую дочь Авдотью за хорошего парня из скромной семьи и принял его к себе в дом. Следующей весной он сыграл свадьбу и младшей дочери, выдав ее в богатую семью и назначив ей огромное приданое.

Казалось бы, тут ему и вздохнуть свободно, видя, как хорошо справляется его зять с хозяйством, и зажить привольно, и повеселить душу, да внезапно подхватил где-то простуду и заболел тяжелой старческой болезнью.

Однако крепкий, закаленный жизненными невзгодами и суровыми сибирскими морозами, организм и здесь выдержал, но оправившись от недомогания, Макар совсем изменился — ослабел, обмяк, статная и крепкая прежде фигура надломилась, согнулась, глаза запали, ноги подгибались от слабости, руки дрожали.

Всё чаще выходил он на воздух, садился на завалинке и долго грелся на солнышке, бездумно озирая прищуренными глазами лес, небо и дома. Он становился всё более равнодушен к дому, семье и хозяйству, которое постепенно целиком перешло в руки зятя. А в результате изменилось и отношение к старику.

Если раньше, когда Макар был полновластным хозяином, его слушались и боялись каждого окрика, и всячески перед ним пресмыкались, то теперь осталась только видимость послушания. По большей части слова его пропускали мимо ушей, и самого его скорее терпели, чем любили.

Он же, несмотря на свое внешнее безразличие, многое видел и понимал. Он видел, что зять гуляет от жены, что он жаден, нечестен и несправедливо захватил всё добро, и что вся семья живет хотя и в сытости и достатке, но не «по-Божьи», в склоках, раздорах и сумятице. Однако, ничего он не мог поделать — даже прикрикнуть на них свирепым голосом, как бывало раньше в пору силы, или прибить кого-нибудь дрожащей рукой не мог. Оставалось молчать да горестно вздыхать.

Младший сын, живший с ним вместе, тоже не был надежной опорой. Уже в детстве у него проявились черты идиотизма, с возрастом все усиливающиеся. В двадцать лет он походил на большеголового младенца с хилым туловищем, тонкими ногами и кривой шеей дистрофика. Волосы на макушке были редкие и бесцветные, усы и борода не росли, язык заплетался, из полураскрытого рта текла обильная слюна.

Отец никогда не доверял ему никакой работы, а соседи и вовсе считали его юродивым — при встрече крестились и отворачивались. А он безмятежно лепетал что-то нечленораздельное и бессмысленно шлялся по деревне. И все-таки Макар горячо верил, что со временем это пройдет: стоит лишь оженить парня и он одумается и вернется к нему разум. Но сделать это не успели — как-то летом отошел он от деревни, заблудился и утонул в болоте.

Это несчастье совсем доконало Макара — руки у него опустились, стал он совершенно апатичен, распустился, точно охваченный бледной немочью, и только и делал, что просиживал сутки напролет у окна, будучи не в силах подняться, и жадно ел всё, что попадалось под руку. Ел же он непомерно много, вызывая открытое озлобление своих ближних.

— И куда у него всё уходит, тьфу ты, пропасть, — говаривала вслух дочь, нисколько не стесняясь его присутствия, — прямо прорва какая-то! У детей отбираю, чтоб его накормить, а ему всё мало и мало — жрет, как боров...

— Да, старик у нас камнем на шее висит, — не раз повторял зять, беспокожно ворочаясь на пуховой перине, — хоть бы поскорее его Господь прибрал, что ли, всё легче было бы...

Но Господь медлил оказывать Свою милость, а старик ничего не мог поделаться с собой и лишь украдкой торопливо глотал большие куски хлеба, давясь от жадности, не прожевывая их беззубыми деснами, хлюпая, пуская пузыри и причмокивая мокрыми губами. Никому до него не было дела, одна только внучка Аленка жалела деда и даже тайком подсовывала ему хлеб и сахар, стянутые со стола, вызывая на глазах его крупные старческие слезы. Остальные внучата были злые и жадные — все в отца. Пользуясь беспомощностью старика, они позволяли себе жестокие шутки над ним: дергали его за бороду, едва он задре-

мывал, стреляли мелкой бузиной в лицо, бросали жгучую крапиву ему за шиворот, кричали в уши, поливали водой и всячески издевались, пока Аленка не прогнала их из дому. Тогда они подымали рев и бежали жаловаться матери, которая с бранью кидалась их защищать. Так изо дня в день они и жили.

За последний год Аленка здорово подросла и весной, опираясь на ее плечо и покачиваясь от слабости на подрагивающих ногах, дед опять смог выползать на солнышко. Часто они вдвоем сидели на лавочке, и дед Макар, задыхаясь, коверкая слова, хрипя и оставаясь в рассеянной задумчивости, рассказывал ей (она была единственным человеком, с которым он теперь разговаривал) о своей нелегкой жизни, о детях, о невзгодах, о надеждах, которым не суждено было сбыться.

— Ванюша, старшой-то мой, он тебе дядей приходится, умный был парень... ох как умный... уж я-то думал, ну вот поженою его на соседской Насте, отдам ему всё добро свое и пушай хозяйничает, пушай продолжает мою жизнь, как молодые побег от старого пня... Ан и не вышло ничего, смутил его нечистый, в город побег — за длинным рублем да за белым углем... А чем не жизнь здесь-то? Ведь всё есть, что душе твоей угодно. А за ним и Алешка подался, и никого-то у меня не осталось... А ведь, чай, умру скоро, и не приведет Господь свидеться, и всё это, — дед медленно обводил дрожащей рукой вокруг себя, словно пытаясь охватить бескрайние леса, вспаханную плодородную землю и бездонное голубое небо, — всё это им останется, всё, чего я добился, они должны утвердить и доделать... продолжить, значит, мое дело...

Не понимая значения его слов, Аленка с жалостью смотрела на деда и ласково гладила его жилистые корявые руки, которыми он, подобно корням могучего дуба, долго и упорно цеплялся за жизнь.

Но однажды тихим предпасхальным вечером, когда обволокло окрестности свежим запахом хвои и едким дымом далеких костров, старик, как обычно, едва сполз с лавочки, чтобы идти в свою конуру, и вдруг сильно покачнулся, дернулся и как-то неестественно тяжело свалился на грязную землю. Ночью он умер.

Лишь только рассвело, как оба брата, сестры и их мужья уже были на ногах и гурьбой ввалились в тесную клетушку, где отец их доживал свои дни, и Иван, как самый представительный, тут же взял инициативу в свои руки.

— Во-первых, — торжественно произнес он, обводя присутствующих хитрым и проницательным взором, — мы должны быть твердо уверены, имеется ли от нашего родителя письменное завещание или какое-нибудь официальное заявление либо распоряжение. Если да, то мы поступим в соответствии с последней волей покойного; если нет, то по закону нам отходит все его имущество и сбережения, которые делятся поровну между кровными родственниками, то есть на четыре части. Итак, Дуня, оставил он какой-нибудь документ, заверенный властями?

— Нет... то бишь, я не знаю, — смущенно пробормотала сестра, пытаясь скрыть, что сразу же после смерти отца бросилась искать это завещание и ничего не нашла.

Но Иван прекрасно понял ее смущение, однако не подал виду и спокойно продолжал:

— Сейчас начнем искать бумагу, а заодно и деньжата. Папаша был человек со странностями и, возможно, припрятал их в укромный уголок, никак не оформляя. Так что не будем терять времени понапрасну.

И все шестеро с великим азартом бросились на поиски — перетряхивать стариковские тряпки, разрезать матрас и подушки, раздирать засаленное ватное

одеяло, простукивать деревянные стены, обшитые дранкой, срывать скрипучие половицы и по кускам разламывать скудную самодельную мебель, не забывая поглядывать друг за другом и прикрываясь неловкими кривыми усмешками.

— Если он где и спрятал, то наверняка здесь, — думал Алексей, незаметно ковыряя подоконник узким долотом, — хорошо бы, чтоб никто не догадался, а уж я ночью всё вытащу.

— Нет, он достаточно хитер был, чтобы бросить деньги у всех на виду, — рассуждал старший зять, — к этому делу надобно с умом подойти.

— Найти бы мне всё одному и ни с кем не делиться, — размышлял Иван, неторопливо вспарывая ножницами перину, — да нет, не дадут, ишь какие жадюги, рты-то поразинули на отцовское добро, увидят — с руками оторвут... и эти зятья — хапуги, тоже, небось, норовят кусок пожирней отхватить... ну, не на дурака напали...

— А может быть, он на чердаке припрятал или в сарае где-нибудь, а то и на огороде закопал — от него всё можно ожидать, — говорила про себя Авдотья. — Я им обо всем этом ничего не скажу, а вот как уедут, весь огород вскопаю, авось, и найду клад драгоценный...

Меньше трех часов понадобилось наследникам, чтобы превратить закуток деда Макара в развороченную пещеру, усеянную обломками стульев и куриными перьями, но найдено ничего не было — ни копейки. Ситуация становилась нелепой.

— Не может такого быть, — раздумывала младшая сестра, — чтоб отец ни гроша не оставил. У него же денег куры не клевали. Значит, надо дальше искать — где-то они есть...

— А вдруг зря всё это? — тоскливо сокрушался Алексей, — отдал он свои денежки в церковь и посмеялся над нами... Эх, не надо было приезжать —

что я жене-то скажу! Один билет чего стоит. А ведь я, как мальчишка, сорвался с места, даже не предупредил ее, хотел сюрприз сделать... Вот тебе и сюрприз...

— Нужно обыскать весь дом, чердак, сараи, конюшню, коровник, свинарник, подвалы, сад, огород и все остальные постройки. Старик, видать, совсем из ума выжил и решил спрятать деньги подальше от чужого глаза... ну конечно, от зятя прятал, — довольно хмыкал Иван, хозяйственно осматривая дом, — либо мы найдем их... либо... не унес же он их с собой!..

— А может, он в гробу деньги спрятал и золотишко, — лихорадочно соображал первый зять, — гроб-то у него давно заготовлен был — заколотил в дно и конец: ни сам не гам и другим не дам... Как же я просмотрел, не догадался гроб проверить... Ну ничего, я, если что, могилу разрою, я его всего переверну, а свое возьму.

— Вот хрыч проклятый, прости, Господи, меня грешную, — думала Авдотья, — скопидом бессердечный. Мало того, что кровь из нас сосал, как пиявка, на шее столько лет сидел, а теперь и благодарности никакой...

— Чтoб ему пусто было, — бормотал второй зять, — все люди как люди: наживут лишние деньги и детям оставят — радуйтесь, живите не хуже других. А этот дурак чокнутый, видать, и впрямь их в землю зарыл, не зря же у него последний сын придурком родился, да и эти не лучше...

Еще раз тщательно осмотрев каморку и ничего не найдя, наследники решили передохнуть и пообедать. Но кусок не лез в горло и, наскоро похлебав жирные щи, они вновь кинулись на поиски богатства. Решено было обследовать огород, а потом приняться за сараи.

В это время ничего не подозревавшая Аленка вернулась от соседей и, зачем-то войдя в комнатку деда, в ужасе застыла на пороге — ей показалось, что нача-

лась война или случилось что-то ужасное и сверхъестественное.

Через секунду она стрелой вылетела во двор, жутко вопя истошным голосом:

— Мамка, где ты? Папа? Где вы все?!

Наследники, спорившие на огороде, с чего начинать копать, уставились на нее удивленными глазами. Авдотья прижала ее к себе и засмеялась:

— Да ты что, дурочка? Чего ты испугалась?

— Там... у деда в комнате... — прерывающимся шепотом начала Аленка, — всё побито...

— Глупая, это мы наследство искали.

— Какое наследство?

— То, что он нам завещал, — ответила Авдотья, поднимая лопату. — Так откуда копать будем?

Пораженная этими словами, Аленка постояла на месте и вдруг сказала:

— А я знаю...

— Что ты знаешь? — усмехнулась Авдотья, вместе со всеми ковыряя мокрую землю.

— Знаю, что вам дедушка завещал.

— Да что ты? Правда?!

Все разом бросились к ней, окружили, затолкали, затормошили, затискали в объятиях и замерли в напряженном ожидании.

— Да ну говори же, не мучь!

Аленка серьезно посмотрела на их радостные лица с алчно горящими глазами.

— Да что же он завещал? — не выдержал Иван.

Она перевела взгляд на крыши деревни, поблескивающие под послеполуденным солнцем, на зеленый, задремавший в весеннем мареве лес, на бирюзовое чистое небо, обвела всё это жестом деда Макара и произнесла дрогнувшим голосом, сама впервые осознав его слова:

— Вот эту жизнь.

Виктор НЕКИПЕЛОВ

Виктор Некипелов в свое время окончил фармацевтический институт, потом — литературный, однако в те годы, когда он не сидит в тюрьме, лагере или психушке, работает как фармацевт, и даже мысль о том, чтобы опубликовать стихи в каком-либо советском журнале, не приходит ему в голову. В. Некипелов — поэт открыто публицистический. И если, с точки зрения чисто поэтической, такая манера бедней, чем у других поэтов, пользующихся всеми поэтическими возможностями, у этой реалистичности есть несомненное достоинство — та простота стиховой речи, которая доступна всем. Стихи Некипелова, впервые опубликованные в «Континенте» № 12, снабжены предисловием А. Галича, который отзываясь о них так: «Поэзия для Некипелова — не забава, это способ противостоять насилию, лжи, бедам в самых жесточайших условиях — психушки, тюрьмы, лагеря — оставаться человеком».

В. Б.

ТЕЛЕВИЗОР

Телевизор купил мой сосед...
Обтекаемый, ловкий, скользкий,
уходящий огромным обмылком из рук
полированный ящик —
урчащий
пустой, ненасытной утробой,
узколобий, как ящер, —
одноглазый зловещий паук
на кривых, разбежавшихся ножках...

Ах, что он наделал, бедняга!
На какое чудовище — долго,
мозоль на горбу набивая,
копейку копил?..
Информации жаждал и зрелищ?
Ну что ж, они будут.
Успеешь, узрешь!
Ведь не кенарь в раскрашенной клетке,
не щегол заводной,
не гармошка —
многоножка,
Франкенштейн издряхлевшего века, —
приклеившись,
прямо из мозга,
понемножку,
по капельке высосет мысли,
обескровит,
обманет,
изменит,
начинит
пустою, изношенной скукой,
послушною ленью и вязкой
изжеванной сказкой, —
коварный вампир...

А сосед не внимает...
Обмывает!
Ладонью ладонь потирает,
садится-вздыхает-гордится,
крутит ручку и верит, что он — управляет,
что он — чародей и шарманщик...
И не видит, как тот, притворившийся мертвым,
урчащий блистающим брюхом,
литой
государственный ящик —
в темноте, за спиной,
выбирает

местечко за ухом —
 понежнее, потоньше, послаще,
 чтоб приникнуть неслышно,
 обвиться,
 и щупальцем тонким,
 невидимым,
 намертво впиться...

1968

ЦВЕТНЫЕ СНЫ

Как мы стали бедны!
 Сны цветные нам больше не снятся.
 Даже если — чефир...
 Даже если до боли обняться.
 Будто взвод привидений,
 размыты туманом и тусклы, —
 По холодным подушкам
 ползут наши сны по-пластунски.
 Мы, должно быть, больны,
 мы, наверно, безмерно устали,
 Если Синие Птицы
 над нами кружить перестали.
 Но приходит пора,
 и случается дивное диво —
 Содрогается мозг
 от цветного безмолвного взрыва!
 И в мещанский покой,
 в шлакоблочные тесные будки
 Вдруг с налета врывается
 грохот вселенской побудки!
 Людям снятся тогда
 пестрокрылые дерзкие струги,
 Огнезарный Перун
 на исхлестанной ветром хоругви.

Плавники осетров,
 и гербы на помятых шеломах...
 Меднокрылый петух,
 заплясавший на княжьих хоромах!
 Людям снятся костры
 и храпящие рыжие кони,
 И багряный кумач —
 лоскутами — на каждом балконе!
 Люди бредят во сне,
 задыхаясь от счастья и муки,
 Простирая во тьму
 непослушные, ватные руки.
 И — пугая жену —
 вновь блуждают по сну, как по лесу,
 Утоленно шепча —
 на чужом языке — Марсельезу...
 Но проснувшись по утру,
 измучены странными снами,
 Уверяют друг друга:
 мол, это случилось не с нами!
 И идут на работу
 с тяжелой, больной головою, —
 Безнадежно устав
 от неравного боя с судьбою.

1969

ДЕРЕВЬЯ

*«Ах, как сосны кричат, когда бьют их метели!
Плачут истово. Впроголос. До дурноты.
Даже беличьи шубы с них наземь слетели,
Закручинились сучья, как в поле кресты.*

*Вот тогда и спешат к ним на помощь деревья,
Тянут ветви. Стволы выставляют вперед...»*

С. Островой. «Стихи о любви»

А поэт ведь ошибся: поверил в поверья,
Не увидел вокруг, не доверил уму:
Если дерево гибнет — другие деревья
Никогда не приходят на помощь к нему!

Не сбегутся, не крикнут во гнев: «Не надо!»
Не протянут ветвей, не прикроют собой.
Лишь угрюмо собьются в безликое стадо,
Поощряя молчаньем трусливый разбой.

Если б были людьми, то, вернувшись с собранья
(А быть может, и с лобного места!) домой, —
Заглушили бы мертвое душедрожанье
Хоть дремучей попойкой, хоть ссорой с женой.

Но деревья не люди... Безмолвны и кротки.
Им не выжать из сердца ни муку, ни стон.
Ведь деревья не пьют, к сожалению, водки
И не бьют — от бессилья — доверчивых жен ...

1970

ПРИБЕЖАЛИ В ИЗБУ ДЕТИ

Маленькая пьеса для балагана

Купе поезда. ПЕТРОВЫХ, — в кепке, в брюках, в кожаной тужурке, — курит, пьет, харкает и плюет на пол. Читает газету. Входит ПЕТРОВА, пожилая учительница.

П е т р о в а. Молодой человек, это какое место?

П е т р о в ы х (*из-за газеты*). Двадцать сельмое апреля.

П е т р о в а (*указывает на полку*). А мое — двадцать восьмое. (*Садится.*)

Петровых складывает газету.

П е т р о в а. Господи, да вы женщина! А я вас приняла за мужчину.

П е т р о в ы х. Неважно Не вы первая, не вы последняя. (*Вынимает из кармана горсть грецких орехов.*) Утром, на вокзале, меня не хотели пускать в дамскую уборную. Какая-то уборщица попалась дура, — уперлась, и точка. Вы, говорит, иностранец, так и идите в мужскую уборную. Железная логика! (*Ищет, чем бы расколоть орехи.*)

П е т р о в а. Откровенно говоря, вы мне очень напоминаете Бальзака.

П е т р о в ы х. Это кто такой?

См. пьесы этого же автора в «Г р а н я х»: в № 75 — «Ящики» и в № 76 — «Крылья». — Р е д.

Петрова. Французский писатель девятнадцатого века.

Петровых пытается расколоть орехи массивной стеклянной пепельницей.

Петрова. Он тоже ходил в очках и в такой кепке. У нас в школе было много его портретов, да во время ремонта все забелили, пришлось выбросить.

Петровых (*пытается расколоть орехи настольной лампой*). Когда я работала следователем в угрозыске, у нас был один Бальзак — вор, рецидивист. Бывало, только и слышишь: «Опять Бальзака поймали!» Но это, наверно, не он.

Петрова. Тот писатель.

Петровых. Положим, бывают и писатели — воры. Но вы говорите — девятнадцатого века. А этот — молодой парень.

Петрова. Тот жил в Париже.

Петровых. Может быть. Не слыхала. Я книг вообще не читаю, только газеты. Иногда брошюры. Читали брошюру «Вопросы пола»? Очень советую. Вы кем работаете-то?

Петрова. Я учительница. Преподаю ботанику.

Петровых. А! это черви, личинки? Знаю, проходила. Тем более, если учительница, — надо прочесть, вы же имеете дело с молодежью. Надо подковаться на все четыре.

Петрова. Да, надо будет прочесть.

Петровых пытается расколоть орехи ногой. Это ей удастся.

Она раскалывает несколько орехов. Остальные, после безуспешных попыток, кладет на столик. В это время Петрова вынимает из сумки мешочек с продуктами, банку консервов, кружку, кладет все это на столик.

Петровых. Домой? Или в командировку?

Петрова. Домой.

Петровых. И надолго в командировку?

Петрова. Так я же не в командировку... я там живу.

Петровых. Ну, это другое дело. Значит, домой?

Петрова. Домой.

Петровых. Домой?

Петрова. Домой...

Петровых. А вы где живете-то? В Киеве или в Одессе?

Петрова. Я... в Киеве.

Петровых. Гм... живете в Киеве? А едете?

Петрова. В Киев...

Петровых. Значит, вы живете в Одессе?

Петрова. Нет, в Киеве...

Петровых. Как же в Киеве, когда вы едете домой! Что-то вы тут путаете.

Петрова. Но я живу в Киеве...

Петровых. Значит, вы едете в командировку? Так получается по логике!

Петрова. Как, по логике?..

Петровых. Одно из двух: или вы живете в Одессе и едете в Киев, в командировку, или вы живете в Киеве, тогда почему вы едете домой?

Петрова. Постойте... вы меня сбили... Я живу в Одессе... то есть я хотела сказать — в Киеве...

Петровых. Так в Киеве или в Одессе? Что-то у вас не вяжется.

Петрова. В Киеве... И еду из Одессы в Киев... Домой.

Петровых. Домой?

Петрова. Домой...

Петровых. И часто вы так ездите?

Петрова. Первый раз за тридцать пять лет.

Петровых. Редко. Ну и правильно. Чего зря мотаться.

Петрова. Да я бы не поехала, мне надо было наследство получить... Тетя моя умерла.

Петровых. И много вам оставила?

Петрова. Сто рублей деньгами и два самовара.

Петровых. Дорогу оправдаете. Ну и проехали, все-таки проветрились, сидеть на одном месте — тоже интерес небольшой. Человек должен двигаться. Знаете, говорят: в движенье мельник жизнь ведет. Один мой знакомый мельник сказал: «Движенье — всё, цель — ничто». Ну, конечно, какая там была у него цель? Ерундовая. Побольше муки намолоть да выпить на эти деньги. Так он к нам и попал — избил кого-то. Ну, мы его через сутки отпустили. *(Пытается расколоть орехи банкой консервов.)*

Петрова. Кажется, у нас два места свободны. Это очень удачно. У меня грыжа, и надо снимать бандаж...

Входит МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. В руках у него маленький чемоданчик.

Молодой человек *(ставит чемоданчик на верхнюю полку, хочет сесть рядом с Петровой)*. Разрешите?

Петрова. Пожалуйста.

Молодой человек *(садится. Вынимает пачку сигарет)*. Не возражаете?

Петровых. Курите. Вагон для курящих.

Петрова. Только дым пускайте, пожалуйста, в сторону.

Молодой человек. Договорились. *(Закуривает. Пускает большую струю дыма в потолок. Смотрит на часы.)* Сейчас отправляемся...

Слышен гудок паровоза. Все трое мерно покачиваются.

Петровых ищет, чем бы расколоть орехи. Пристально смотрит на молодого человека.

Петровых. Молодой человек... у вас дым из уха идет.

Молодой человек. Это ничего. Это бывает. Части еще не приработались. Шестеренка заедает.

Петрова. Какой у вас образный язык. Мне как преподавательнице ботаники очень приятно это слышать.

Молодой человек (*поправляет челюсть рукой*). А сейчас?

Петровых. Теперь из уха не идет.

Молодой человек (*затягивается*). А сейчас?

Петровых. Теперь идет из носа.

Молодой человек. Из какой ноздри?

Петровых. Из левой.

Молодой человек (*радостно*). Всё в порядке. Я боялся именно за левую ноздрю. Новая шестеренка в лобной пазухе.

Петрова. Какие смелые метафоры! Шестеренка, подшипник...

Молодой человек (*затягивается*). А сейчас?

Петровых. Не идет почему-то. Куда же он девается?

Молодой человек (*затягивается изо всей силы*). А сейчас?

Петровых. Ни черта не идет.

Молодой человек. Я говорил им. Когда они собирали мне голову, они перепутали порядковые номера. Но так как глаза были уже собраны, я это заметил, но не мог в тот момент сказать, так как язык еще не подвесили.

Петрова. Что-то я не понимаю, что вы имеете в виду?

Петровых. Наверно, то, что у него язык плохо подвешен.

Молодой человек. Нет, язык они подвесили мне хорошо, хотя его пришлось перевешивать дважды — комиссия нашла, что он недостаточно шершавый. Но они поспешили и, вместо того, чтобы его сперва вымочить в нужном составе, а потом обработать надфелем, они просто почистили его наждаком и поставили обратно.

Петровых *(замечает дым)*. Смотрите, из-под вас дым идет! Что-то горит.

Молодой человек вскакивает, все трое осматривают его полку.

Петровых. Нет, ничего... Странно. Я видела собственными глазами, как дым шел у вас по-под... ну, из-под того, на чем вы сидите.

Молодой человек *(затягивается)*. А сейчас?

Петровых. Идет, идет!

Молодой человек. Всё понятно. Видите ли, дым, попадая в организм, ищет выхода, обычно он выходит через рот или нос (но заметьте, через обе ноздри). Если же что-то в организме разладилось, то дым, не попадая в полость носоглотки, начинает лихорадочно стучаться во все отверстия. Вот вам разгадка, почему он шел через ухо и через... ну, вы понимаете. Так объяснял профессор — он читал надо мной целую лекцию.

Петрова. Как вы образно говорите! Ваш язык — это большой подарок нам, учителям.

Молодой человек. У меня есть запасной, если хотите, я могу вам подарить. *(Вынимает из жилетного кармана пакетик, протягивает Петровой)*.

Петрова *(берет)*. Благодарю вас. Это что за сувенир?

Молодой человек. Это — язык. Моя запчасть.

Петрова. Простите... Я не понимаю, что вы сказали... Какая запчасть?

Молодой человек. Видите ли, я мотогонщик, участник всех международных соревнований за последние пять лет. Я много раз разбивался, иногда так, что приходилось собирать меня по частям. А так как многие органы после этого выходили из строя, их пришлось заменять искусственными. Так, за каких-нибудь два года, мне заменили: позвоночник, почти все ребра, тазобедренные кости, четырнадцать зубов, селезенку и мочевой пузырь. Но время шло, я тренировался и достигал всё лучших результатов, и постепенно мне заменяли и другие органы. Особенно мне не повезло на последних соревнованиях полтора года тому назад, во Франции. Условия соревнования были такие: машина участника на полном ходу должна была врезаться в отару овец, потом пересечь поле, перескочить трехметровый ров, достичь церковной стены, въехать на нее с южной стороны вертикально, сделать круг на перилах колокольни, спуститься по другой стене, с северной стороны, прямо на паперть, не задев ни одного из молящихся (всё это происходило в воскресенье утром, во время мессы), съехать со ступенек в сад, обогнуть восемь церковных могил, начиная с могилы основателя этого храма, выехать за ограду на шоссе и там финишировать.

Петровых. Ну и как?

Петрова. Вы проделали всё это?

Молодой человек. Я проделал всё, кроме последнего условия. Я врезался в отару овец, причем было убито семьсот сорок девять овец, пересек поле, перескочил трехметровый ров, достиг церковной стены, въехал на нее с южной стороны вертикально, сделал круг на перилах колокольни, спустился по другой стороне, с северной стороны, прямо на паперть, не задел ни одного из молящихся, хотя их, как назло, столпилось там довольно много, особенно много, как

я заметил, было калек, нищих, странников, женщин с грудными детьми — одна была особенно жалкая — на руках ребенок месяцев четырех-пяти, головка вся в коростах, глазенки гноятся, видно, голодный, смотрел на меня таким жалобным взглядом, как будто просил хлеба, — съехал со ступенек в сад, обогнул восемь церковных могил, начиная с могилы основателя храма (имя я не разобрал), выехал за ограду и вот тут-то, когда я должен был финишировать, при самом выезде на шоссе, столкнулся с возом сена — откуда он взялся, ума не приложу! Как выяснилось, это по шоссе ехал крестьянин, вез на базар сено. Ну, вы сами понимаете, что мотоцикл по сену пройти не может. Буксует. А на такой скорости — это верная авария. Я здорово разбился. Мне рассказывали ребята, что я разбился на такие мелкие части, что меня собирали два часа и многого так и не нашли. Например, трех ребер, одной почки, шести позвонков; куда-то исчезли оба уха и язык; зубов собрали только десять штук, остальные не нашли. Ребята предполагают, что всё это растащили болельщики, на память.

П е т р о в ы х. Но главное было найдено?

П е т р о в а. Сердце, сердце не пропало?

М о л о д о й ч е л о в е к. Сердце долго искали, но в конце концов нашли — оно прилипло к чьей-то подошве, видно, кто-то на него наступил и так ходил.

П е т р о в ы х. А руки, ноги не разворовали?

М о л о д о й ч е л о в е к. Нет, крупного ничего не взяли, так, мелочи, вот зубы, уши, язык.

П е т р о в ы х. Ну и что же было потом?

П е т р о в а. Долго вас лечили?

М о л о д о й ч е л о в е к. Полтора года. Меня, можно сказать, собрали заново. Из моего личного ассортимента при мне остались только мозги, одна почка и два коренных зуба. Остальное всё искусственное. И так вот собрали меня, всё скрепили, но, знаете, сам чувствую — части еще не притерлись. То поскри-

пывает где-нибудь, то заедает. Они уверяют, что это потом пройдет. Иногда заговариваюсь. Тогда надо ударить меня по затылку и там что-то встанет на место. Ребята всегда так делали.

Петровых. Вот оно что. А я-то думаю, почему у вас дым идет из уха и из... ну, одним словом, снизу. Так вы чемпион! Очень приятно. Будем знакомы. *(Протягивает руку.)* Петровых, пенсионерка, в прошлом — работник угрозыска.

Молодой человек *(пожимает ее руку)*. Очень приятно... Петросюк...

Петрова *(протягивает руку)*. Петрова, педагог... Очень приятно...

Петросюк *(трясет ее руку)*. Очень, очень приятно...

Петрова. Чрезвычайно...

Петросюк *(продолжая трясти ее руку)*. Очень рад...

Петрова *(пытаясь освободить руку)*. Очень приятно...

Петросюк *(продолжая трясти ее руку)*. Весьма рад с вами познакомиться...

Петрова *(пытаясь освободить руку)*. Очень, очень рада...

Петросюк *(продолжая трясти ее руку)*. Очень приятно...

Петрова *(пытаясь освободить руку)*. Мне также...

Петросюк *(продолжая трясти ее руку)*. Простите... Что-то заело... Но что? Ума не приложу...

Петрова *(пытаясь освободить руку)*. Помните, пожалуйста... Мне будет очень нужна эта рука...

Петросюк. Попробуйте подкрутить винт под правой лопаткой...

Петровых. Ну, давайте я сделаю, что там надо.

Петросюк (*поворачивается к ней спиной*).
Вот здесь.

Петровых (*ищет под рубахой винт*). Не могу найти... Этот, что ли? Куда крутить?

Петросюк. По часовой стрелке.

Петровых крутит. Рука Петросюка разжимается.

Петросюк. Благодарю... (*Приводит себя в порядок.*)

Петровых. Да, неважно они вас собрали. Просто халтура. И часто это с вами бывает?

Петросюк. Да вот третий раз за эти сутки. Вчера язык заело. Меня кассир спрашивает: «Какой вам билет?», а я выговорить не могу, говорю только: ку-ку...

Петровых. А что это: ку-ку?

Петросюк. А это я хотел сказать: «купированный», а язык застрял в глотке и челюсти не могу разжать.

Петрова. А отчего это бывает? Не замечали?

Петросюк. Замечал. Вот когда голову резко поверну, вот так. (*Резко поворачивает голову вправо и так остается.*)

Петрова и Петровых молча смотрят на Петросюка.

Петровых. Ну... что же вы замолчали?

Петрова. Смотрите, он не может рта раскрыть... Весь посинел...

Петровых. Опять что-то заело.

Обе пытаются что-нибудь сделать, трогают Петросюка за голову, за руки.

Петрова. Помните, он говорил, что надо ударить его по затылку?

Петровых. Это можно. (*Ударяет Петросюка по затылку.*) Не помогает.

Петрова. Попробуйте дернуть его за ухо... только не больно.

Петровых (*дергает*). Не то.

Петрова. А если за волосы?

Петровых дергает Петросюка за волосы.

Петросюк (*не поворачивая головы*). Накопил и машину купил!

Петровых дергает еще раз.

Петросюк. Без копейки и рубля не бывает!

Петрова. Что это он какие-то поговорки выкрикивает...

Петросюк. Все на борьбу с грызунами!

Петровых. Надо попробовать тот винт подкрутить, под лопаткой... (*Подкручивает.*)

Петросюк. Прибежали в избу дети,
второпях зовут отца,
тятя, тятя, тятя, тятя, тятя, тятя,
тятя, тятя, тятя, тятя, ...

Петровых. Опять заело.

Петрова. Всё разладилось... Вот беда-то. Надо бы голову повернуть...

Петросюк. Тятя, тятя, тятя, тятя, тятя, тятя...

Петровых (*пробует повернуть голову Петросюка*). Нет, не могу... Давайте вместе. Вы берете за эту щеку, а я буду нажимать с затылка.

Петросюк. Тятя, тятя, тятя, тятя, тятя, тятя...

Петрова и Петровых с силой наваливаются
на Петросюка.

Петрова. Что-то хрустнуло...

Петросюк. Тётя, тётя, тётя, тётя, тётя...

Петровых. Еще разок... Раз, два, взяли!

Наваливаются на Петросюка. Раздается треск. Голова
Петросюка остается в руках Петровых.

Петрова (*в ужасе*). Какое несчастье!

Петровых (*смущена*). Да, не повезло... Как же теперь мы ее обратно присобачим...

Петрова. Уж как-нибудь постарайтесь...

Петровых *(разглядывает голову)*. Так... Тут у него нарезка сносилась... Но это можно подточить. Сейчас попробуем. *(Шарит в карманах его пиджака.)* Должна быть схема. *(Находит.)* Вот она.

Петрова. Только, ради Бога, скорее... А то кто-нибудь войдет... Ведь это почти убийство!

Петровых. Да хватит вам кудахтать! Вот сейчас ознакомлюсь со схемой и прикреплю. Подумаешь, большое дело. Что, в первый раз, что ли, голову оторвали! У нас бывало и не такое, выходили из положения. *(Рассматривает схему.)* Тут вот, видите, нарисован тросик... А где он? Не найду... *(Рассматривает голову.)* А, вот он! Всё в порядке. Подержите-ка головку...

Петрова берет в руки голову.

Петрова. Какая тяжелая! Не дай Господь упадет на ногу — всю расплющит.

Петровых *(радостно)*. Да! Пойдите-ка, я сначала наколю орехов!

Берет из рук Петровой голову и начинает колоть ею орехи.

Петрова. Смотрите, ничего не ломайте.

Петровых. А тут нечему ломаться. Работа такая топорная.

Петрова. Скорее, ради Бога... Далось вам эти орехи!

Петровых. Да что вы нервничаете? Я, наоборот, думаю, не отложить ли нам это дело до утра? И спать спокойнее будет. Так мы его положим на койку, и он будет до утра отдыхать. И храпеть не будет. И вы бандаж можете спокойно снять.

Петрова. Нет, это рискованно. Как же так получается? Мы же виноваты, сами оторвали ему голову и вдруг — спать легли?

Петровых (*строго*). Что значит — виноваты? Не вы заговаривались и не я. Он заговаривался. Выкрикивал поговорки и отдельные слова. Мы же ради него оторвали.

Петрова. Ну как хотите. Только я бы сегодня привинтила. Спокойнее было бы на душе. Вы же говорили, что в вашей практике это случалось...

Петровых. Да случалось — отрывать отрывали. Но обратно не прикрепляли. Понимаете?

Петрова (*уныло*). Понимаю.

Петровых. Ну, давайте еще раз попробую.

Она старается посадить голову на место. Ей долго это не удастся, наконец попадает в нужную точку, начинает завинчивать, Петрова ей помогает.

Петрова. Слава Богу! Так-то спокойнее...

Петровых продолжает завинчивать голову. Последние повороты она делает с трудом и наконец останавливается в тот момент, когда голова находится на туловище затылком вперед.

Петровых (*тицетно пытается повернуть голову, чтобы лицо встало на место*). Нет, не могу... (*Вытирает пот.*)

Петрова. Но ведь так же оставить нельзя...

Петровых. Попробуйте сами.

Петрова (*пробует сдвинуть голову с места*). Да... Это невозможно... А если раскрутить ее обратно?

Петровых (*пробует*). Ни взад, ни вперед. (*Садится на лавку.*) Фу, до чего устала!

Петрова. Что же теперь будет?

Петровых. Да хватит вам хныкать. Что будет? Ничего не будет. Небось, не заметят.

Петрова. А если заметят? И как он с поезда теперь сойдет? Он же не двигается и не говорит... И смотрит не в ту сторону.

Петровых *(пытается разобраться в схеме)*.
Я всё сделала правильно. Почему он не двигается — это непонятно. Попробую подкрутить этот болт. *(Находит на груди болт и начинает его поворачивать.)*

Петросюк. Приташили мертвеца,
тятя, тятя наши сети,
второпях зовут отца,
прибежали в избу дети...

Петрова. Заговорил... Только всё задом наперед!

Петровых. Может, я винт не в ту сторону подкрутила?

Петрова. Он же вам сказал — по часовой стрелке!

Петровых. Я винт не в ту сторону подкрутила. *(Крутит. Голова с треском становится на место.)*

Петросюк. Прибежали в избу дети,
второпях зовут отца,
тятя, тятя наши сети
приташили *(подмигивает женщинам)* продавца!

Так поют наши ребята. Они намекают на то, что у нас в буфете продают разбавленное пиво. Кстати, у меня есть две бутылки пива, не хотите?

Петрова. Нет... спасибо...

Петросюк *(вынимает из чемоданчика пиво)*.
А почему? *(Наливает пиво в кружку.)* Выпейте кружечку. Вот закусить нечем.

Петровых. А вот — грецкими орехами.

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

Рассказ

— Сюда, сюда проходите! Калитки не опасайтесь, она уж второе леточко на одной створке висит. Известно: хозяина нету, дом — сирота. Нет, что вы, я не хозяйка буду, соседка я. Во-он, сзади мой домищечка голубеется. Ничего, стоит! Вчера муж одну шиферину на крыше сменил, полопалась. Нельзя не следить: мы ведь зимники, круглогодишники, так вот. Сюда, сюда ступайте! По тропочке, по травочке и выйдете к самому дому. Далеко добираться от калитки? Так ведь участок эвон какой здоровенный, вчетыре нашего больше, залюбуешься!

Отчего им такой большой дали? Хозяин полковник был, да не просто полковник, а с заслугами, за заслуги ему и дадено лишку, тем более, поселок наш офицерский. Мы-то нет, не военные. Из деревни сюда перебрамшись, купили здесь строение. А раньше оно коменданту поселка принадлежало, он, стало быть, нам уступил, а сам, как на пенсию вышедши, в город перебрался, к деткам своим.

Конечно, не большой кусок, да нам хватит: десяток соток с четвертью. Земля тоже уход любит, а нам когда: муж в заводе цельный день, за пять остановок на поезде катает, я в ясельках уборщицей. Да сын с дочкой неполностью совершеннолетние, да поросенок, да коза, да кроли. Верите: до огорода руки последними доходят, так вот.

Лида Николавна велела сказать: потому и продает дачу, что некогда обиходить. Да и некому, правда сказать, сама-то кефира всё, кефира всё... А? Нет, не в молочной, в концертах очередь объявляет, кто за кем. Ну, ну, будь по-вашему: кефирансе. Да круглый год по командировкам. Мать у ней давно скончалась, отец, Николай Василич орудовал здесь, сна-покою не видал. А что вышло: в прошлом годе ему почку резали, да, видать, лишку отхватили. Лида Николавна опоры единственной своей лишилась.

С мужем своим она давно в разводе, еще когда Славка родился чего-то горшки побили. Теперь сюда, сюда сворачивайте, на большую терраску. Осторожно, ног не поломайте, вторая ступенька прогнитая.

Тут вот, на правой руке, кухонька будет. Видите сами: кафелем стенка выложена, будто в городе. Только зря красный кафель нацементировали, белым бы надо, начудили, всё Славкины затеи. Белый-то цвет всех красивше!

А сюда, пройдите, столовая будет. Зала, по-старому сказать. Обои нарядные, глядите, и птицы, и рыбки, и розы все друг вокруг дружки так и выются. Эту уж комнату старик лично обряжал, по два рубля кусок обоев стал, да продавцу лишнюю пятерку отвалили, чтоб оставил. А как же? Здешний продавец, промтоварный, у самой станции магазинчик, заметили, небось, как шли.

Сзади комната — то спальная, или, как хотите, используйте, старик в ней жил. Ишь, продушил табачищем, всё трубку сосал, как соску, отвыкал от ней, отвыкал, да так и не отвык до самой смерти.

А эта, третья комнатка, самой. Кроватка? Вся мебель с дачей продается и подушки-одеяла постельные и столы-стулья. Теперя старье не больно ценится, на придачу идет. Фотография? Так это она и есть, Лида

Николавна, года три, четыре ли назад. Видная собой была.

Теперь-то нет, подкосилась от горя. Перво-наперво отца потеряла, хоть и за восемьдесят ему было, легко ли? А стала в себя выходить, сынок набаловался. Да вроде я сплетничать принялась, не осудите, я ведь его, Славку, с семи лет лично знаю. Мать с делом души не чаяли, а вышел тип. Да не оговариваю я, так, к слову.

Теперь, значит, сюда пойдете, терраска вторая, закрытая, в уголку лесенка, по ней на второй этаж влазают. Не опасайтесь, прочная. Лесенку эту мой муж сам ладил, подхалтурил у Николай Василича. А старик скупущий был, хоть и покойник. Рядились за сорок рублей с ихним материалом, а он потом повернул будто всего тридцать шесть должный, два поллитра посчитал, что мужу поставил, один будто пошел, что я им полы весной мыла, а другой вычел, перебирал, перебирал, голову задурил совсем, так по его и вышло. Кто ж это могарыч учитывает, разве татарин какой!

Нет, русские они, Николай Василич сам деревенский по рождению, из-под Тамбова, а вон как возвысился! А отсюда гляньте, со второго этажа вид роскошный. Старик по цветам был прямо колдун. Чего у него ни цвело: и тюльпаны, и гвоздики, и сирень, и роза розовая, и роза чайная, и роза кровавая, и ландыш садовый. А лучше всех он незабудки понимал!

Весь поселок дивился, что за незабудки старик выгонял, с мак, не совру! На выставку цветочную их возил, диплом золотыми буквами дали. Во-он у заборушки две штуки уцелело, будто брошки синие! Любил старик красоту, ох, любил. И сам был могутный, прямой, очи воронье, а что голова, что борода будто подсиненные. И улыбка приятная.

А здесь на втором этаже комната Славкина. Что стены досчатые, да книжки на полу стопками накида-

ны — это уж его вкус. И фото его над диваном. Такой он и есть на свете: худой, да длинный, как хлыст березовый. И никчemuшный, правду сказать. Так и мoтается, как вор на ярмарке.

Мой-то, Костюшка, всего на два года его постарше, уж армию отслужил, оженился. Детки скоро пойдут, всё, как надо быть. Сын? Нет, сын у меня в седьмом только, с рогаткой по воробьям балуется, а так ничего, не жалуемся. А девочка в пятом еще, помощница. И никогда я им такого воспитания не давала, чтоб ночью электричество жгли, а днями напролет с товарищами спорили. И товарищи-то больше волосатые, как попы.

А Костя, племянник, в позапрошлом лето гостил у меня, значит, отпуск из армии получил, воспаление в легких у него вышло, в стройбате он ишачил, а после больницы, спасибо командир душевный, отпустил на неделю. К родителям ему далеко, так ко мне заехал. Да вы заморились поди, по солнышку шли, легкое ли дело. Сядьте-ка на диван, не тушуйтесь, а я вам пока всё расскажу.

Бревна? Из сосновых она бревен строена, чистая сосна без подмеса. Столбы под фундаментом литые, цементные, вокруг кирпичом обкладены. Спустимся сейчас, сами поглядите. На совесть строено, для себя. Рубленый дом, как есть, общая площадь пятьдесят метров квадратных. Померяйте, коли хотите! Да наверху мансарда пятнадцать метров, большая семья, коли нужно, разместится, дачников пускать можно. Отличный дом!

Вы не подумайте только, я за то хвалю, что Лида Николавна поблагодарить меня сулила, ежели хороших покупателей приважу! Я как есть! Я тоже лицо заинтересованное, под боком живем.

И благодарная я им: Николай-то Василич под конец хорошим соседом обернулся, за Костю вступился, за племянника моего, что я рассказывать-то начала.

Да... Гостил он, значит, и попервоначально было со Славкой подружить хотел, а тот от него в сторонку, ну Костя и без него обошелся, с Петры Иваныча сыном поладил, с Гошкой. Петру знаете? Он на весь поселок...

Кто есть? Да по специальности сказать никто. Верней, всего понемножку. То сторожем на водокачку пристроится, то рабочим в продмаг. Сам он так про себя объясняет: я рыцарь с большой дороги.

Как это? А вот утром раненько, как первые машины на шоссе загудят, Петра тут как тут: «Что везешь, почем берешь?» Известно, у шоферов всегда груз незаприходованный имеется, на усушку там, на утруску. А мужчине, конечно, с утра опохмелиться охота. Ну, Петра им и деньгами, и выпить свою, свекловичную. И задешево купит.

Все подряд берет: и железо кровельное, и толь, и рубероид, мягкую кровлю то есть, и бревна, и умывальники даже жестяные в лагерь пионерский везут и то за бесценок возьмет, дачникам втрое дороже спустит, всегда в барыше! А с виду не мужик, а божья коровка, вон какой.

Вот с племяшом моим его сынок и обдумал дельце: сварганили сами бачок, руки у ребят золотые, трубочку витую к нему подвели, наполнили чем надо и укрыли тепленько у нас на чердаке, в тайности ото всех. Да не посоветовались со старшими, как лучше-то. Ночью и громыхнуло!

Я девчонкой малой войну повидала, сразу угадала: бомбежка! Что-чего, спросонья поросенка выхватила из хлевушка, прижала ко груди и давай ноги в лес, как с дитей малой. Я скотину всегда очень жалею, пользы от ней сколько.

Весь поселок потом меня пересмеивал: детей бросила, мужа бросила, все добро забыла, книжку даже сберегательную, а свинью унесла. Так ведь я со сна! Муж лучше скумекал, сразу на чердак ринулся, а там

аппарат самогонный взорвался, страшное дело, в куски бак лопнул. Вон какая сила в алкоголе!

Шумом, конечно, чуть не весь поселок перебудили. Не успели в себя прийти, прибраться, милиционер пожаловал: «Что-чего, кто виновник?» Протокол написал, Костина командира оповестить грозился.

Тут, на счастье, сосед, Николай Василич, прибрел, тоже и его побеспокоили. Разобрался он и велел милиционеру это дело похерить. Пустяки потому что. Тот поворчал да послушал полковника, разодрал протокол свой. Правда, никто не пострадал, я одна пострадала, обстрекалась вся в крапиве, как с поросенком бежала. Угостили, конечно, милиционера за уважение.

Без полковника-то, Николай Василича, будь ему земля пухом, неизвестно, как бы еще дело обернулось. Авторитетный был, потому милиционер его и послушал. Чем авторитетный? Да ведь все в поселке знали, кем он до пенсии-то состоял. Расстрельщиком, вот кем! При чем тут охота? Он людей застреливал. Приказ давал, солдаты, подчиненные ему, и стреляли. В кого, в кого! В кого надо, стало быть!

Ничего не выдумки: он сам рассказывал, еще молодой когда был на Беломорско-Балтийском канале начал работать по этому делу. Солдатом простым начинал. Враки все это, грит, что людей убивать тяжело. Напротив того, очень даже приятно. Сладость, будто, особая, когда он, которого сейчас вот стрелять станут, перед тобой плещется, тонким голосом минуту еще пожить просит.

Почему палач? Это Славка так его костил, внучек, а он же по присяге воинской. Должен кто-то ее сполнять, верно? Вы бы не стали, и я бы не стала, а он вот смелый такой уродился, Николай Василич.

Здесь чего? А здесь душик, вода подведена из колодца. Славный колодец, глубокий, и для поливки брать можно. Яблонь сколько? Дай Бог памяти, не то

семнадцать, не то восемнадцать корней, хозяйка до точности сама разъяснит. Из питомника они двухлетками саженцы брали. Вишен со сливами корней с двадцать наберется, ну там сморода черная и красная, крыжовник, малина, клубники десять гряд. Ну, та совсем захирела, обновлять надо. Были бы руки, а доходу с него получить можно, с участка. Конечно, область наша малоурожайная, а все ж...

Эх, знал бы старый хозяин, что дачу его так запустили, траву даже не косят, да продавать ладят, в гробу бы перевернулся! Он ведь планировал Славку на генеральской дочке какой оженить, правнучат здесь растить! А вышло...

Запретила Лида Николаевна кому проговариваться, да уж к слову: в тюрьге ведь Славка-то. Суд над ним сегодня-завтра грянет. Мальчишка зеленый, студентик, он письмо высшему начальству отписал, что, мол, не так государством нашим руководят, жестокости, мол, повсюду да неустройства. И указание дал, как молодежь считает нужным все поисправить.

Оно, конечно, недостатков полно, да ведь коли всякий запросто начнет начальство учить, что из этого выйти может? Завоюют нас иностранцы и всё тут, мне мужик мой разъяснял.

Письмо мальчишкино, Лида Николаевна сказала, по радио заграничному передавали, будет ему за то плохой приговор, закатают порядочно. Жил бы да жил, дачей роскошной бы пользовался, нет, стукнуло начальство беспокоить!

Бывало, как с дедом поссорится, так и честит его: преступник ты, весь род свой опозорил! А тот в ответ улыбнется только: «Дурачок ты зеленый и жизни вовсе не знаешь!»

Прав старик вышел. И то сказать, барское дитя оно завсегда глупое, с нашими ребятами не сравнить. Забаловали, зачитался. Ходит на землю не глядит,

всё в небо уставится, будто на нем узоры разрисованы, аж спотыкается. Доходился!

Ой, заговорила я вас совсем, такая уж, видно, болтуха уродилась. Как хозяйке-то передать? Подходит дача, нет? Еще другие поглядите, подумаете? Ну, верно, нельзя без того. А только очень не замедляйте: Славка всё мать пугать стал еще до ареста, будто стоны в доме по ночам слышит, как тоскует кто и пощады молит.

Да не верьте: дед ведь не на даче приговоры в исполнение приводил, откуда же здесь упокойники возьмутся?

Лида Николавна-то раньше дородная была, идет, земля дрожит, а нынче высохла, как девчонка молоденькая. И мнение свое растеряла, со всеми советуется, что-чего, как жить, что делать?

Один молвит: герой ваш Славка и светлый душой, гордиться таким надобно, она и загордится. Другой осудит: Славку идиотом сумасшедшим обзовет, третий обратно возвеличит. Совсем с панталыку сбили.

Жила она раньше, не тужила, у папы пенсия приличная, сама зарабатывает, только и ладила, чтоб одеться помодней, может, и был у ней кто, рассчитывала Славку поднять, да самой пожить... Всё сорвалось!

Теперь ладит дачу продать, а на деньги, как Славку отпустят, за границу с ним ехать. А там буржуазия вся сама от безработицы бедствует. Пойдут в рабы к капиталисту какому, хуже, чем у нас в рабочие. Так вот всё у них расплылось. Побарствовавали!

Ну, счастливо вам, заходите! Эй, гражданка! Вы по объявлению насчет дачи? Продается, продается, сюда ступайте, вдоль забору. Калитки не опасайтесь, она уж второе леточко на одной створке висит...

ЖИЛ-БЫЛ КОЛОКОЛ

Рассказ

— Ры-а, лы-а, ры-а, лы-а... — цирковым, обузданным плеском порывается вода, обтекая тело искусственной рыбы. Время — вечер. Пора — лето. Круиз. Прогулочный лайнер на Волге. От Москвы ушел, ко граду Горькому плывет. Каютки на двоих, первый, второй, третий класс. Разница: первый класс на верхней палубе, прохладой отоваривается, в каютке раковина с водой. Третий класс где-то в трюме, никаких тебе удобств, духотища. Второй посередине, без воды, шумновато, но воздух в окно просачивается. И цены соответственные. А как же?

— Ры-а, лы-а... — Все на палубе стеснились, на верхней. До ужина еще долго, мероприятие еще в расписании имеется, экскурсия на ближайшей остановке, а пока время перетереть требуется.

— Лы-а... — Гуляют пассажиры по палубе парами, тройками, как на школьной перемене. Шершавый ветер выдергивает обрывки фраз и шлепает их о берег, бесформенные, но понятные, как обломки древних статуй.

Не торопится пароход Антон Павлович Чехов. Имя у него белой краской на сером боку выведено. По шерсти кличка: красив, изящен, покашливает деликатно. И словно вглядывается во всё вокруг... Вглядывается...

Вон длинный, узкий парк тянется вдоль берега, отделенный от каменистой отмели дощатым, мши-

стым забором. В заборе калитка, возле калитки щит с объявлениями, читай — не хочу.

«Заходить в парк для выпивки запрещается». «Первого числа сего месяца состоится общее собрание всех детей поселка по поводу улучшения быта и озеленения. Явка обязательна». «Заходить собакам в парк строго не разрешается».

Захолустный, неграмотный пес, судя по причёске, отъявленный хиппи, добродушно пялится на проезжий пароход, чихает, воспитанно отворачивая вострую, как карандаш, морду, потом, облизнув рыжий грибок носа, вспоминает о своих неотложных делах, неторопливо трусит через калитку в запретную зону. Там, отлично просматриваясь с парохода, расположились на холмике несколько средних лет граждан обоего пола в пляжной одежде без претензий. Хрумкают огурчики, прихлебывают «Столичную». Хорошо, уютно!

Но волны в мелкую складку дрожат перед «Чеховым», манят его, уводят... Мнет их безжалостно лайнер, стирает в водяные брызги, а за его спиной волны снова оживают и собираются в огромную плиссированную юбку русалки-великанши, отливающую нефтяной радугой. Холодные и плотные на вид, они пахнут зелеными лекарствами и прозрачным стеклом.

Крутятся, крутятся по палубе пассажиры. От носа к корме, от кормы к носу, по эллипсу обходят они свое временное жилище. Сколько их? Сотня? Полсотни? Как статисты в театре, играющие толпу, ступают они много раз по одному и тому же месту, удваиваясь, утраиваясь на взгляд. Разные, разные... И в непрерывном их движении по часовой стрелке трудно разобрать, кому какая фраза принадлежит:

— А гарнитур мебельный она ни в жизнь не отдаст: скажет, на свои покупала!

— Не знаю, на обед суп брать, не знаю, судак... Слатенького бы чего.

— Капитан баржи получает сто двадцать, а помощники по восемьдесят, это береговые.

— Пап, хватит ходить, я взопрел!

— Генерал, семьдесят стукнуло, но больше пятидесяти ни за что не дашь.

— Кто разрешает бегать? Нельзя! Я сама учительница.

— В Астрахани браконьер попросит: дай соли два мешка, ну, дашь, а он рыбы на всю команду.

— Вы кого просмеиваете?

— Как торговала промтоварами, так и торгует. Куда она растет?

— Я, пока губы не накрашу, в уборную не схожу.

— Мам, живые коровы на пляже! Их загорают, да?

— А гарнитур?

— Изо всех столовых напитков, действительно, и я это с удовольствием подтверждаю, является грушевый.

Трехэтажный «Помяловский» не спеша шлепает навстречу «Чехову». Капитан «Чехова», молодой, щеголеватый, красуется на своей высоте, с презрением поглядывает на капитана встречного, небритого, мешковатого. Да и верно: куда Помяловскому до Чехова, хоть и коллеги!

Два подъемных крана на берегу, неподвижные, наклонились друг к дружке носами и болтают беззвучно, похожие на добрых дядюшек игуанодонов. Стаями скачут по реке маленькие огоньки, точно найрентные гривенники, пляшут вокруг старой облупленной баржи по кличке «Примерный».

Там, у железного борта, возле цистерн с надписью: «Дизельное топливо», сушится белье, женское, простенькое, из хабэ. Полотняные ночные рубашки с простоватой доброжелательностью хлопают друг друга рукавами, будто здороваются, и девушка с баржи, широкая и маленькая, со славным, раскрасневшимся

лицом, остриженная под парня, в одних трусиках и лифчике из цветастого ситца зовуше провожает глазами «Чехова».

Скользят справа и слева кирпично-красные слоистые обрывы, выше режут пространство острые проволочки осоки, как радары лиллипутов. Проплывает на барже железно-серый сарай с каллиграфической надписью «Материалка». Лайнер всё замедляет ход. На мостик выбегает и становится рядом с капитаном мастерски вылепленный парень в черной майке-обтяжке и машет белым флагом. Точно пароход сдается кому-то в полон.

Он сдается городу Угличу. Нескладный подросток с нижней палубы бросает растрепанную веревку-чалку. Лайнер, дернувшись, останавливается. И сразу близко, сверху, возникает храм, небольшой и грустный. Как целомудренные груди юной китаянки его блестящие купола.

Это храм царевича Дмитрия. Храм, воздвигнутый в честь семилетнего мальчишки, зарезанного какими-то подлецами. В честь младшего сына Ивана Грозного, больного ребенка, у которого отобрать престол было так же легко, как пряник.

Утром он играл в ножички во дворе, неловкой рукой втыкая острие с костяной ручкой в нарисованный нянькой неровный круг, когда та же нянька пропустила в царский двор деловитых убийц. Они не были садистами, но за гибель беспомощного мальчишки получили уже завидный аванс. И няньке деньги были не лишними, а Митьке, так она утешала себя, все равно не судьба была вырасти: уж слишком слабенький. И она помахала над головой царевича конфеткой в ярко разрисованной бумажке. И когда Дмитрий доверчиво потянулся к гостинцу, откинув тонкую цыплячью шею, в нее вонзился настоящий острый нож, направленный сильной, мужской рукой.

И тогда вдруг на ближней церкви без звонаря, сам, так утверждали очевидцы, яростно забил набат, всполохами литого вопля взывая к справедливости:

— Пусть бу-дет прав-да! Пусть бу-дет, прав-да! Да рас-то-чат-ся вра-зи его...

Не расточились! Наказали не убийц. Колокол. Ему приписали клевету на власть, и свидетели доказали, что был сей колокол не иначе, как подкуплен иноземными шпионами или вовсе ума решился. Нет, всё-таки подкуплен!

Только в России может статья такое: колокол били палачи, били плетью публично на главной площади Углича. Потом ему отсекли его длинный язык, не сумевший промолчать, когда следует. Потом его торжественно сослали в Сибирь. Большой отряд сумрачных солдат тысячи верст сопровождал пешим ходом телегу, на которой везли онемевшего государственного преступника.

Через триста лет его вернули из подвалов далекой северной церкви, где он ржавел всё это время в заточении, назад, в Углич. Очередной царь пожелал почтить память невинно убиенного царевича. Но реабилитированный колокол изменился. Люди белеют от старости, он потемнел. Следы ран явственно проступили на его чугунном теле. Поставленный посреди церкви, как памятник, он молчит, молчит.

Старику привязали новый язык, начистили песком, повесили на колокольню. Но, как ни старался звонарь, как ни тянул, ни раскачивал колокол, ни звука не вырвалось из его груди. Колокол снова спустили вниз, поставили на тяжелый дубовый постамент. Бывший глашатай сделался навсегда немым музейным экспонатом.

А что еще ему оставалось? Ну, было дело. Ну, бил самоотверженно, живота своего не щадя, ну, взывал... А толку что? Многих ли пронял? Вон они, потомки прежних россиян прибыли на экскурсию с

теплохода «Чехов». Лучше стали, может? Благородней, а? Святые, нешто? Умней своих пращуров? Пошлости в душах поменело?

— Как думаешь? Этот колокол золотой? Много из него тогда коронок выйдет!

— Как же царевича Дмитрия дома звали, Димкой, что ли?

— Лучше бы в этой церкви клуб устроили, для народу.

— Крепостника какого-то зарезали, тем более царского сына, так экскурсовод минут двадцать без прорыву языком чешет, а с меня на улице часы сняли в позапрошлом годе.

— А иконки, что на стенах висят, продаются? Сейчас модно, спроси, Петя!

— Товарищ экскурсовод, вы непонятно разъясняете, с нами же дети. Следует им сообщить, что это сказки всё про царевичей и колокол для театра поставлен.

— Как ты её не урезонивай, ни в жизнь гарнитур не отдаст!

— Интересно, это колокол золотой? В поликлиниках за коронками очередь годовая. Конечно, если по благу...

Вечер. Заход солнца. И по воде веером светло-малиновые стержни.

— Эх-эх-эха, — вздыхает прогулочный «Чехов», сзывая временных своих постояльцев. Просветились в экскурсии, пора дальше. Спешите пассажиры Земли, тупые, недолгие...

И вдруг над водой острой голубой трелью:

— Мама, мне старый колокол жалко! Я царевича Дмитрия спасти хочу, мама!

И вибрирует в ответ в церкви хриплым шепотом чугунный старик. Не зря всё же страдал, жил-бил не зря. Даже если один на всю планету голос голубой. Даже один если...

В. РЫБАКОВ

НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ

ИНЦИДЕНТ

Это было в 1967 году. Мое отделение возвращалось из караульного помещения. У каждого усталостью на плечах висели сутки караульной службы. Автомат, легкий во время инструктажа, теперь давил и давил, как говорили «квазимодил», хотелось забросить его в кусты, стать хоть на несколько минут пацифистом. Ноги топали, и словно им в такт, желудки пели грозные марши. Каша, которую приносили из столовки в караулку в термосах, остывала в пути. Знаю, на гражданке, после сытного обеда, всё это кажется чепухой. Да и известно, что сытый голодного не понимает. Но разве тут дело только в голоде? Стоишь на посту, защищаешь неприкосновенные границы необъятной социалистической родины, тебя прошибает мороз с ветром, желтый брат может в любое время ночи подползти к тебе, неуклюжему, скованному тяжелой караульной шубой, и всадить преспокойненько тебе в спину штык (желтому брату ведь нужно всего три часа ходьбы, чтобы добраться из своей социалистической родины к твоей спине). А когда возвращаешься, тебя, как плевков в глаза, встречает холодный слипшийся кусок кашеподобного вещества в грязной миске. Это всё, чего ты удостоился...

Нас дожидался замполка по политической части — подполковник Раевский.

— Так, товарищи, — сказал он, — вам выпала большая честь (в переводе на нормальный язык эти слова означают: не будете, сволочи, дрыхнуть, а будете вкалывать. — В. Р.). Китайские ревизионисты всё же продолжают платить нам долги. На станцию прибыл ихний эшелон, поедете его разгружать. Вести себя достойно. Провинившийся будет сурово наказан.

Через час мы уже были на безымянной станции. Пока выгружали ящики на перрон, к нам подошли человек двадцать китайцев, все опрятные, худошавые, одинаковые. У нас на ушанках были звезды, и у них на ушанках были звезды. Отсутствие погон на их плечах нас забавляло, ходят, как подследственные. Они нам под наши ухмылки цепляли на гимнастерки значки с изображением Мао, короче, — занимались пропагандой, будто нам своей недоставало.

Всё бы и окончилось тихо-мирно (после работы старший офицер собрал бы к себе в полевую сумку значки, и дело с концом), если бы шепотком не прокатилась весть, что в этих самых ящиках находится тушёнка. Через пять минут (случайно якобы) один ящик упал и раскололся. Китайцы бросились подбирать катившиеся банки. Началась свалка. Кто-то под шумок врезал одному китайцу под дых: нечего, мол, то хотеть нашей Сибири, то банки с тушёнкой — не тронь, не твои уже. Офицер наш, красный, как партбилет, от волнения никак не мог дозвониться в часть. Все двадцать китайцев были избиты. Пять банок тушенки были сожраны в миг.

В части это дело замяли. Зачинщиков не искали. Все были зачинщиками. Вечером один из нас сказал в раздумье:

— Их было двадцать, нас — двенадцать, а мы их побили.

Ему кто-то ответил, вероятно, один из мудролюбов:

— Да, побили из-за пяти банок тушёнки.

АНАША

В Сибири здоровая зима. Когда мороз ударяет под или за сорок, то холод сковывает воздух, и солдату на посту чудится и чудится, что гудит тишина.

Что же касается Дальнего Востока, то зима там не так бьет человека холодом, как ветром. Ветер пробивает шинель, ватник, караульную шубу, изматывает тело, нервы. Стоишь и боишься, как бы душа не застыла. А на зимних учениях нет караульной шубы, часто нет и валенок. Если есть опыт — достанешь сапоги размера на три больше ноги, выкинешь соблазнительные байковые портянки и завернешь ноги в газету — в «Правду» или «Красную звезду». Забудешь, не вспомнишь о своем или чужом опыте — страдаешься; если сил достанет, самого себя будешь жалеть. Ночью, мучаясь, будешь проклинать каптерщика, продавшего в деревне твои валенки, будешь жадать смерти старшины, пропившего вместе с каптерщиком те же твои валенки.

Старший лейтенант Потапенко из второй батареи любил поговаривать в ответ на жалобу, презрительно шурясь: «Ничего, ты не свинья — ко всему привыкнешь»... Иногда снисходительно добавлял: «Не знаешь разве поговорку: раз хочешь жить, так умей вертеться». И уходил паренек из его теплой самоходной будки обратно на мороз с незамерзающим отчаянием в душе.

Я однажды наблюдал за таким мальчиком, для которого эти зимние учения были первыми. Ему, наверное, и девятнадцати лет не было. Мне было уже двадцать два года, учениям я счет потерял и за все время только разочек один поморозил себе ногу. Паренек стоял возле орудия и глядел на гуляющего взад и вперед по позиции ефрейтора Хубилая. Парень смотрел на Хубилая, как верующий на икону. Ефрейтор шел тихим шагом, морозный ветер словно огибал

Хубилая, словно боялся дотронуться до его оголенных пальцев, шеи, выглядывающей из расстегнутых гимнастерки и телогрейки. Хубилай подошел ко мне и спросил:

— Володя, чего эта зелень на меня так выпятилась?

Спросил и ткнул пальцем в сторону замерзающего паренька. Я ответил:

— Разве сам не знаешь? Ты для него Господь Бог.

Хубилай растянул губы в грустную и вместе с тем довольную улыбку. Сказал:

— Пойдем к нему. Ведь пропадет ребяенок.

Я встал со снарядного ящика, на котором сидел. Я уже два года дружил с Хубилаем... он был... впрочем, кого интересует национальность друзей. Хороший парень, настоящий друг — и всё. Два года тому назад Хубилай так же мёрз на учениях, и кто-то над ним сжалился, дав ему покурить папироску с анашой. Анаша — самый распространенный на Дальнем Востоке наркотик, нечто вроде гашиша, только гораздо слабее. Но для солдата важнее всего то, что анашу он может делать сам. Много растет конопли за селом Покровка, наверное, и за другими селами Дальнего Востока. Коноплю, этот ее вид, часто называют посконью. Научно ли это, никому не нужно знать. Важен результат. Когда конопля расцветает — солдат находит время (получит увольнение или уйдет в самовольную отлучку — по-армейски, самоволка) — и вместо того, чтобы пойти в кино, съесть сладости или попытаться найти себе хорошую девушку, — он уходит в поле. Ищет коноплю. Находит ее, расцветшую. И хлопая руками по цветку, собирает пыльцу, еле видимую, неосязаемую руками. За шесть-семь часов работы можнс, как говорят анашисты, «создать себе комочек». Если отцвела конопля, а запас не сделан, то работа предстоит более долгая: тогда необходимо рас-

тирать семена и то, что у нас называлось «мужским цветком». Как там в учебниках — опять никому не нужно знать. Затем, аккуратно выпотрошив папиросу, лучше всего беломорину, смешать табак с крошечным кусочком анаши и набить папиросу. Надышаться — и нет горестей, нет мороза, нет сомнений, нет желаний. Есть покой.

Я сам прошел через это, но понял и сумел через несколько месяцев после первой папироски с анашой выкинуть прочь кусочек анаши. Смог потому, что мне из дому прислали денег, и я купил несколько бутылок перцовки. Согревался ею, тянул ее через соломинку. У Хубилая и у десятков других ребят в части не было родственников, способных послать им денег. Они продолжали. Они втянулись. Паренек смотрел на Хубилая, как на икону. Он не видел, как я, что у Хубилая желтое лицо и неестественно широкие зрачки, что мой друг лишился за два года двадцати килограммов веса, и еще он не знал, что трудно будет, почти невозможно будет Хубилаю после жить без анаши.

Я не стал мешать Хубилаю. Он расставался ради чужого парня с кусочком анаши, с кусочком своей жизни. Это мало кто может сделать. Он губил парня? Да, возможно. Но тогда парень задышал часто-часто анашистым дымом папироски и забыл о холоде, смерти, своем несчастье. Он стал смеяться спокойно, как смеются люди, слушая остроумный, но не очень смешной анекдот. И в нем исчезло много животного и появилось много человеческого. Я не верил тогда ни в судьбу, ни в Бога. Но я верил в торжество несправедливости.

УЗКОКОЛЕЙКА

Бывает, что солдатская судьба гонит парня от одной чрезвычайности к другой, дает ему возможность приобретать особое знание нашей жизни, позволяет ему увидеть то, что скрыто. Чаще всего это особое знание приходит тогда, когда сливается, переплетается военная жизнь с гражданской — когда парень, широко раскрыв жадные молодые глаза, отправляется в командировку. Мысль позабыть, что погоны на плечах, что действия твои, вплоть до малейших, зависят не от тебя — основная дума каждого командировочного. Тут и надежда получить ласку, которую может дать только женщина, тут и стремление забыть на время уставы, приказы, механичность усвоенных вопросов и ответов. Одно то, что можно будет ответить кому-то не «так точно», а по-человечески «ладно», уже окрыляет и растягивает рот в добрую улыбку. Об одной командировке, о которой остались страшные воспоминания, остались в части как табу, не любили говорить, а если и вырывалось нечто, то — намеки, ясные только для посвященных.

Тогда надвигалась зима. Одно из проклятий солдата — ветер. Он уже ожил, и, радуясь, пробивал шинели, телогрейки, гимнастерки, и, добираясь до тела, прошибал и его. Тогда же в штабе полка решили до наступления морозов закончить строительство учебного стенда. То ли отпущенные на строительство деньги были пропиты, то ли начальство из дивизии, приказав закончить работу до зимы, позабыло дать части средства, но вернее всего, что сказал комполку командир дивизии: «Мое дело приказать, твое — исполнить. Чтоб был этот стенд. А как и что — мне того знать не требуется». Именно после таких разговоров наша нетрудовая армия становится трудовой. Два отделения нашей роты были откомандированы в ближайший леспромхоз валить лес. Солдат работает —

деньги идут начальнику финансовой части полка. Этот же самый начфин высчитал, что пяти суток работы по двенадцать часов вполне хватит. Нам было наплевать. Мы радовались, хлопали друг друга по плечам, бросались наперегонки в каптерку, стремясь добыть себе валенки поновее. Молодость рвалась из нас, она была сильнее холода, на нас набросившегося, когда трехосный «ЗИЛ» вырвался из контрольно-пропускного пункта и запырил по ухабам.

В тайге было менее ветрено, в деревне-леспромохозе люди были приветливы, девушки строги только по крупному счету, на добрую же ласку не скупилась. Работали тяжело, зато после наступления сумерек могли дышать полной грудью, не ожидая окриков, не думая о построениях, политзанятиях. Сопровождавший нас лейтенант оказался парнем незлобным: чтоб работа была сделана, чтоб не было чрезвычайных происшествий, а там — живите, как хотите. О таком лейтенанте приятно и вспомнить. Нужный лес был повален в четыре дня. Утром последнего командировочного денька из своей избы вышел опухший от водки лейтенант и сказал нам всем на радость:

— Возвращаемся вечером домой. На сегодня объявляю выходной. Тот, кто не будет здесь в семь вечера, пойдет прямичком на губу. Разойдись!

Расколовшись на группы, все разошлись. Шелестящий покой тайги окутал нас. Природа заражала своей беззаботностью, неторопливостью жизни, смерти. Здесь всё было преходяще, и всё было мило. Пройдя километров пять, группка, в которой я был, вышла на своеобразную поляну — она обладала формой отчетливого прямоугольника. Творение человеческой руки почувствовалось сразу, природа редко уродует себя столь четкими формами. Мы еще заметили, что трава на этой поляне была выше, гораздо выше, чем на других, попадавшихся на пути. Обычно трава так бурно растет в покинутых деревнях, когда мстит за

то, что ее долго не пускали, когда торжествует. Мы отошли от странной поляны, чтобы натолкнуться в зарослях на узкоколейку. Она нарушала покой леса. Что-то в нас произошло, появилось беспокойство, которое невозможно описать словами, это было скорее ощущение приходящего беспокойства. Узкоколейка исчезала в зарослях, в молодом лесу. Создавалось впечатление, что она ниоткуда не начиналась и никуда не вела или вела в никуда. Вспомнилась странная поляна. Неподалеку от узкоколейки текла без шума узкая река, на берегу двое малышей из деревни закидывали донки. Мы подошли. Малыши недовольно оглянулись, но, увидев солдат, улыбнулись. Один непременно хотел стать летчиком, другой — моряком. Мы у них спросили о поляне и узкоколейке. Они пожали плечами, ответили:

— Что-то было.

Я заметил, что во время всего разговора они зачарованно глядели на наши пилотки. Что начало века, что конец его — дети остаются детьми. Пошептавшись между собой, один из них сказал:

— У нас тайна есть. Никто ее не знает. Покажем ее вам, обменяем на пилотки.

Мы, рассмеявшись, дали им сразу пять пилоток. Пилотки были рабочими, а кроме того, скоро должен был выйти приказ министра обороны СССР о переходе войск на зимнюю форму одежды, так что пилотки — всё равно долой.

Малыши вели нас минут десять и остановились у места, где река довольно круто для кроткости своего течения поворачивала на запад в ту сторону, где стоит Москва. Малыши влезли в красный от осени кустарник у обрыва, подмываемого рекой в дни разлива. Там во всю высоту поросшего обрыва вода, срезав пласты земли, открыла груды человеческих костей. Мы оцепенели. Казалось, кости зашевелиятся, валяющиеся как попало или словно вросшие в грунт черепа заговорят.

Всё стало ясным. Было удивление, что ясность пришла только теперь. Поляна была лагерем, там стояли вышки, на них были пулеметы, колючая проволока окружала людей, ставших номерами. Их убивали, калечили физически и нравственно. Сколько тысяч человек было здесь замучено? Никто не скажет. Пересилив себя, я подошел поближе. На ноге того, кто был (для меня остался) человеком, висело подобие бирки. Номер был повернут к земле, и я не посмел осквернить его покой прикосновением, любопытством. Покой ли? Я не был верующим, но не мог не подумать об их душах. Если действительно существует бессмертие души, то обрела ли каждая из них покой, если прежде чем убить тело, в нее плюнули, а плоть испоганили, бросили, как не бросают последнюю собаку?! Много бы я отдал, чтобы узнать об этом.

Веселые крики убежавших с нашими пилотками малышей заставили меня поднять голову, посмотреть на друзей. Все были бледно-зелеными, но лица их были лицами людей, готовых к драке. Мы возвращались молча, осторожно ступая, мы шли по этому месту, от земли которого и по бесконечности шло и шло человеческое страдание. Остановились у поляны, где стояли бараки, где существовало то, что не должно существовать. Только тут, представляя вышки с пулеметами, я вспомнил, что я — солдат. На вышках тоже стояли солдаты, были они из особых войск, карательных войск, специальных войск НКВД или КГБ — это дела не меняло, они были солдатами и советскими людьми. Их уставы — и сегодня наши уставы, их форма — наша форма. Сколько прошло лет? Двадцать, тридцать? Это было вчера, которое мало чем отличалось от сегодня. Вот здесь, на этой поляне, солдаты убивали людей тысячами, десятками тысяч. Если к каждой единице приставить человеческую жизнь со всей ее неповторимостью, то нет уже цифр, есть отвратительная громада непоправимых преступлений. А что если

завтра нам в руки дадут пулемет и погонят на вышку? Что тогда?..

По прибытии в часть ребята с завистью нас спрашивали о впечатлениях, настаивали. Мы молчали, не было слов. Да и не говорить хотелось.

СЧАСТЛИВЫЕ СОЛДАТЫ

Воинский эшелон с призывниками — как бы движущаяся граница, всё более отдаляющая человека от гражданской жизни. В вагонах сидят люди, никогда ранее друг друга не видевшие. Если бы каждый не получил повестку, — не встретились бы, прожив каждый еще хоть по сто лет. Какая роковая случайность может столкнуть лбами гуцула и, скажем, южносахалинца? Разве что судимость. Или же роль судьбы может сыграть распределение после института или университета, но это редко, да и всё равно не будет тогда равенства меж людьми — служебное положение, зарплата и многое другое отделит их друг от друга.

А вот если напялить на них всех обмундирование, сдавить всех в тисках устава, вести их строем в баню да на обед, оголить им черепа под машинку в честь кто его знает какой унижающей гигиены — вот тогда действительно — все вместе, тогда воистину встретились, так повстречались, что и деваться друг от друга некуда.

Моя граница начала двигаться во Львове, шла через весь Советский Союз и остановилась во Владивостоке. Там я стал солдатом вместе со всеми.

Дни пути каждый переживал по-своему. Я утешал себя тем, что моя вздорная жизнь не могла иначе обернуться на данном этапе, и старался как можно больше спать. Лучшим щитом от будущего я счел фатализм. Другой городской, как и я, всё не мог себе и всему миру простить, что не добрал на экзаменах

одного-двух баллов и не прошел в институт; ко всему еще от баланды, которую доставляли из кухни-вагона, его мутило. Третий, приклатненный парень, рвал струны инструмента, отдаленно напоминавшего гитару, и пел об утерянной свободе. Он так долго пел о свободе, что в вагон из купе проводника вошел лейтенант, старший по вагону, и молча разбил вдребезги этой подобие гитары. Молчание, в котором было много страха, окутало призывников. Парень, выйдя из оцепенения, стал орать, что не собирается служить родине, которая кормит своих защитников хуже, чем совхозных свиней, что не собирается любить армию, которая разбивает музыкальные инструменты, как только они начинают издавать звуки, подчиняясь душам их хозяев.

Лейтенант вновь вошел в вагон и, на этот раз сказав: «Я тебе покажу свободу», — разбил в кровь лицо парня. Тот даже не понял, что мог бы защититься. Так, не доехав еще до конца границы, еще не став официально солдатом, — он был уже душевно сломлен.

И вдруг с верхней полки отделения общего вагона, в котором я находился, раздался полный иронии голос: «Поняли теперь, бараны, зачем революцию делали? Не поняли? Для того, чтобы в армии не именем царя, а именем народа вам, народу, морду били». На великое счастье парня, его не услышал лейтенант и никто никому на него не донес. Мне было странно слышать его слова.

Когда мы после, уже в части, подружились, он мне рассказал, что его отец украинец-галичанин четыре года во время второй мировой войны воевал с немцами. Когда пришли советские войска, стал воевать с ними, «за родину», как выразился парень. Пришли советские карательные войска. Это было в 1946-1947 годах, то есть он, рассказчик, тогда только-только родился. Мать отнесла его в ближайший

городок к двоюродной тетке. Это его спасло. Десятки и десятки деревень были снесены с лица земли, тысячи и тысячи женщин, стариков и детей погибли, боеспособных мужчин либо расстреливали на месте, либо вешали. Отца повесили. Мать изнасиловали и убили. Сестра и брат погибли в горящей хате. Оставшихся в живых согнали к станции, посадили в эшелоны и прямо погнали в Сибирь. Участок земли, поколениями принадлежавший их семье, забрали. Только несколько лет назад некоторые, оставшиеся в живых, умудрились вернуться в родные места. Они, ставшие уже русскими, рассказали подробно о прошлом. Парень закончил свое повествование: «И вот теперь я служу и защищаю с этим автоматом и с нашими гаубицами власть, которая убила всех моих близких. Служу — а что остается еще делать? А небось русских в тех карательных войсках было много, было большинство».

Помню, я тогда взбеленился, сказал ему: «Ты вот русских ругаешь, а ведь им было хуже всех, им и сегодня хуже всех. В нас всех убили чувство, при помощи которого человек различает по-человечески добро и зло. Был бы теперь бунт где-нибудь в Оренбурге, послали бы нас туда — ты бы не стрелял? Куда бы ты делся? Для того, чтобы ты не стрелял, нужно, чтобы никто не стрелял».

Парень мне ответил: «Против русских я ничего не имею, я про них сказал не со злостью. Ты вот русский, а мне — друг. Калушенко — друг, Судак — друг».

Что и говорить, в том эшелоне-границе было много разного люда, все стали солдатами и большинство дослужило и вернулось домой: кто — по месту прописки, а кто, воспользовавшись наличием военного билета, чтобы не вернуться в проклятый колхоз, постарался начать в ином месте иную жизнь.

Да, в том эшелоне было еще много странно счастливых для меня ребят. Для них сидеть в набитом

битком вагоне семнадцать суток подряд было радостной переменной в жизни. Им было приятно, что можно бесплатно получать еду, что можно сидеть, скрючившись, и не работать. Они никого ни в чем не винили: лейтенант, что разбил лицо парню с гитарой, был для них неким злым бригадиром — только и всего. Они видели возвратившихся с военной службы односельчан, грудь которых была усыпана значками, односельчан, выдумывавших разные веселые истории о случаях в строю, романтические приключения на зимних, осенних, летних учениях. Сами демобилизовавшиеся, выдумывая, начинали верить в свой вымысел, необходимая в каждой армии дисциплина становилась в их сознании детской игрой в беспощадность, в увлекательную беспощадность. Многие из этих странно счастливых людей думали, что, мол, лучше перемена к худшему, чем неподвижное зловонное вчера.

Когда граница-эшелон остановился, всех нас высадили. И вот стоит себе нестройный еще строй, ходят взад и вперед офицеры и сержанты-сверхсрочники, привыкшие глядеть не на лица, а на однообразное обмундирование солдат, которых перестали называть людьми.

И каждый из нас, поглощаемый в тот день машиной, которая называется армией, сам того не подозревал, что входит он в новую жизнь со всей своей неповторимой индивидуальностью, которая будет влиять на соседа по койке, что все мы будем взаимно формировать друг друга, обмениваясь жизненным опытом.

РОДНАЯ ПОЧВА

В третий раз пытаюсь дочитать «Лето Господне» Ивана Шмелева. Со слезами струятся строчки, текут перед глазами... Нет, опять не удастся. Со страданием, со счастьем отстраняюсь от книги, книги необыкновенной, не сравнимой ни с чем. Величавая сердечность, конкретность, истинность. Значение этой книги для людей, утративших родину (живущих в СССР и вне его), трагично и спасительно. Спасительно для памяти поруганной Руси православной. Вот она, здесь, со строк отозвалась бездомному, неприкаянному сердцу... Бессмертная, живая, благословенная... ласкает память и утешает.

Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

В ушах стоит перезвон Масленицы, свечение Рождества, катание пасхальных яиц, смотрины, крестины, радостные воистину посты, естественный, натуральный труд. Неужели так было, были такие значительные, весомые люди, немудреные, нелукавые. Речь их — от полноты сердца, жизнью дышащая, образная. О, как выигрывает она рядом с пустым многословием образованных, с малокровным их диалектом. У простого народа чудодейственная красота выражений, речи. Они не речисты, не словоохотливы, слова редки, как живая роса (хорошего всегда понемножку). Вот солдат Махоров, потрясенный гибельным увечьем

любимого хозяина-работодателя, инвалид на одной ноге, приполз с лечебным советом:

«— Кажинный-то день окачиваться студеной водой в банях, тазов по сту... всякую болеть выгонит, уж до-знано!..»

Предобрая Анна Ивановна: «Вставай, помяни папеньку... Царство ему Небесное... ти-хо отошел... разок вздохнул только... и губками, так вот... будто кисленькаго отпил...»

И не требовалось никаких репрессивных законодательных фолиантов, человеку нужно было только перекреститься на образ, и ему доверяли без контролеров любую кассу, любые деньги. Ни нотариусов тебе, ни печатей. Христианское сердце, страх Божий благодатный, любовь — надежнее юридической казуистики. Поэтому из-за ненужности и были слабы государственные институты на Руси. Лавина паломников с узелками, котомками разбрелась во все семь концов света. И по Афону они топают, и по Иерусалиму... Но где же в таком случае экспансия паспортной системы? Где тирания «виз»? А ничего подобного не было.

И тебя, Россия моя, дипломированные выжиги называли «крепостнической пещерой угнетения»! Пресыщенной их самости тошно было от ладана твоего, Россия. А теперь, породив полчища атеистов, расплатившись за прогресс человеческим сердцем, теперь-то мы нуждаемся для защиты своей жизни и интересов в гипертрофированном аппарате судов, милиционеров, тюрем... В прославляемой эволюции сменили боговдохновенный Дух на богоотверженный. И лязгом перьев начали пинать православную Русь, эстафету от «Современника» приняли наши писатели-орденоносцы. Каждый Иуда получит свой кусок.

И нет слов, чтобы провозгласить благодарность за защиту родины, за любовь к ней Ивану Шмелеву. Он нам особенно дорог своим благочестием. Биогра-

фические герои Шмелева онтологически мудры, какие-то жизнетворные, естественные. Особенно они хороши в ситуациях судьбинных: у одра ли смерти, за столом ли свадьбы, и очень эстетически обрядны в многосложных церковных правилах. Они наполнены природой и духом жизни, поведение их непреложно, уместно. (Невольно припоминаешь, как ничтожно топчется наш современник в доме умирающего или покойника или за дверью рожаящей женщины. Ощущается ущербленное изгнанничество из натурального л о н а. Он ничего не смыслит в красоте обрядного попечения жизни.)

Да, необыкновенная книга, званная книга, как вновь обретенный край родной, как постигнутое отечество, которого постоянно скорбно искало сердце и в музейных развалинах, и в заброшенных неасфальтированных аллеях, в ветхой ограде старой могилы... Нет, не может быть, чтобы всё исчезло без следа!

Потрясенная «Летом Господним», поехала я в Замоскворечье, где прошло детство Ивана Сергеевича Шмелева. Немедленно захотелось увидеть Калужскую улицу, с торговыми лавками, пекарнями, банями, садами, храмами; пройтись по заветной земле, где гарцевала «Кавказка», «Кривая», лаял пес Бушуй; увидеть храм Казанской Божией Матери, где отпевали Сергея Ивановича, постоять на его могиле на территории Донского монастыря и на могилке маленького Сереженьки...

Увы, Калужской улицы более н е т, она втекла в общий поток Ленинского проспекта. Храм Казанской Богородицы давно разрушен бульдозерами. Сначала его приспособили под кинотеатр «Авангард», а теперь вовсе истребили: на его месте построили многоэтажную коробку. На бывшей Калужской — чад машинный, неестественная лавина людская, которая обхватывает и несет тебя. Но чудный яблоневый сад Шмелевых выходил задними дворами на Донскую улицу...

Она сохранила свое название, и там было как-то поспокойнее. Я пошла по ней, переполненная чувствами, всматриваясь, угадывая... Родные вехи, где вы?.. Где могла быть та лужа с утками, гусями, голубями, курами? Иду по серому асфальту, в арьергарде девяти-, семнадцатизэтажные коробки, на каждом шагу вывески: «Карбюраторный завод», «Союзхимтара», «Район. комитет ВЛКСМ». Вошла в переулочек, читаю: «Библиотека просвещения трудящихся». Задержалась, раздумывая. Толкнул в бок спешащий «просвещенный трудящийся»: «Чего раскорячилась, рот раззявила!» Обдал злобой, устремился дальше... Родные тени! Укажите хоть тот клочок неба, что был над вами! Предполагала, гадала. Толкала толпа людей без пола, без возраста, без лиц. Из открытого окна оглушал магнитофон любовно-томительным боевиком, в котором разбушевавшийся голос взывал о «счастье любви»... И как спасение донесся слабый вечерний благовест с Донской улицы. Милостию Божией уцелевший Храм «Ризоположения» звал к вечерне.

Старушки стекались тихими струйками. И церковь, боязливо, тихо, стыдливо вбирала их в свое лоно, и через два часа так же тихо, стыдливо выпускала. Церковь не вносила никакого нюанса в общее лицо жизни улицы. Не в этом ли сполна ощущается (хваленое нашими церковниками) отделение Церкви от государства? Теперь-то понятно, что раньше отделить Церковь было немыслимо, как сущностную, жизненную плазму всего и вся (и жизни государства), как немыслимо отделить душу от тела. И слава Богу, что была не отделена, как мать от жизни детей.

Вошла в храм и я. Поставила на канун свечку в память всех Шмелевых, переписала их дорогие имена и с рублем подала на обедню. Не забыла помянуть Михаила Панкратьевича Горкина и приказчика Василия Васильевича. В храме оглянулась... одни старушки. Вышла, хотелось успеть к потемнению в Донской

монастырь. Пять-семь минут ходьбы по Донской — и открывается царственное величие монастырского подворья. Гигантские, красного кирпича стены (как у Кремля), множество вышек, колоколен, поднимаются церковные маковки. Стала искать вход на территорию. И тут поругание: на стене монастыря — вывеска: «Научно-исследовательский институт зрелищных сооружений». Значит, в один из многочисленных сводов гиганта зодчества прополз и обосновался НИИ. Монастырь довольно длинным периметром огибают территория завода «Красный пролетарий», обступили вывески: «Пятилетке — качество», «Слава — труду» и т. д. Взволнованно вхожу на подворье монастыря... Облезлые, давно неухоженные, обветшалые гигантские красавцы-соборы, часовни, горельефы и барельефы стен. На монастырском кладбище — уцелевшие и наиболее красивые надгробия тесно сдвинуты в ряды. Здесь были роскошные, богатые склепы, усыпальницы, благолепие и красота почитаемой Вечности, и дурновоние яблоневого сада. Покойницкая тишина: монастырь мертв. Спит цитадель православия...

Побрела среди надгробий и уцелевших надписей, выискивая заветное — «Шмелев». Вековой сон тишины и запустения, «милой смерти неслышный лёт». Могилы в основном прошлого века, надписи на торжественно родимом церковнославянском призывают к Богу, чают воскресения мертвых... С томлением и тоской преодолевая воспоминания и такой силы разлад настоящего с прошедшим, которого не знала ни одна нация, с надвигающейся усталостью, присела у надгробья Голицына...

Овладевали картины прошедшего... Неужели отсюда начинались потоки православных на Пасху, на Спас?... Как торжественно певучий, красочно-золотой водопад, растекался по улочкам с хоругвями, крестами,

ризами облачений православный праздник под благовест неисчислимых колоколов Москвы. И пускали ракеты-иллюминацию на Пасху. Палили торжественно пушки на Крещение... Выносили за ворота на розговыны для всех пешеходов корзины крашенных яиц... Неужели так было когда-то? Катали яички на Красную Горку, гадали на Святки... Дружно солили огурцы на Ивана-Постного (11 сентября), капусту — на Воздвижение, мочили яблоки на Покров... Весело, эпически чинно справляли свадьбы, именины, крестины? А найти ли слова, чтобы выразить вселенскую благодать Рождества?

А вороха цветов на Троицу! А вербы в канун Страстной седмицы! А губернские балы... ярмарки...

Посмотрела на мертвый монастырь, подняла глаза к сизому смурному небу, в сердце рождалась молитва... Вдруг пронзительный свист в самое ухо вернул меня к реальности. Рядом стоящая квадратная сторожиха со свистком орала: «Идите на выход, территория музея закрывается!»

Душат слезы, прячу лицо в воротник. Поплелась обратно по Донской улице к метро Октябрьская. Затолкала толпа, гогот с визгом, транзисторы, граждане с сумками, а в них — колбаса да мясо... А ведь сейчас пятая неделя Великого поста. Стало понятным невежественное утверждение атеистов, что христианство выступает против радостей человеческих, что отвергает их понятие блаженства: когда в одной руке прекрасная дама, а в другой — бокал отменного вина. Но Церковь внушает другие добронравные радости: самовоздержание, внутреннее просветление, радости супружеского целомудрия и верности.

Радости — это не бокал и не податливые красавицы, а когда в семье мир и в округе, когда дети растут здоровыми, крыша не течет, урожай на славу, да скот пригожий, жена преданная, добрая. Радость — это молитва и надежда на Господа. Произошла подмена,

пересадка ценностей. Все выбрали «псевдо», призрак, утробное неумеренное бесчинство. Отчего же счастливых-то нет? Не первый ли это признак ложного пути? Мысли текут, текут... Пожалуй, такое беззаконие было уже когда-то перед Потопом. Ощутила страх, сжалось сердце. Оглянулась на Монастырь. И только сейчас заметила, что с левой стороны окружают лесами одну из башен: затеяли реставрацию, будут придавать благопристойность для экскурсий иностранных и отечественных ротозеев. Будут подмазывать, подкрашивать, наряжать покойника — и демонстрировать э т о т у ж а с... Почувствовала в этом некая утонченная форма варварства. Теперешний вид монастыря по крайней мере — честный некролог. А хотят превратить в эстетическую фикцию. И еще: душу воротит от рук, приступающих «к мероприятию». Не те руки. Ведь монастырь загублен не иноземным завоеванием, не землетрясением... Грустно иду по Донской, из храма вытекают тихонько старушки. Не заметила, как опять вошла в храм. «Он мертв...»

Нет, нет! Он не мертв. Это только кажется, когда смотришь на люд, на действительность, изобилующую всякими мерзостями. Чех Пахман сказал: «Господь настолько милосерден, что не позволяет Себя изгнать окончательно». Великая правда. И я верю: и *мы* обрящем это неокончателное изгнание.

В Лето Господне 1977. Пятая неделя поста. Москва.

Литературная критика

Эммануил РАЙС

ПРОТИВ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО РОМАНА

Не знаю, правы ли философы, отождествляющие слово с разумом. Слово — одна из иррациональных, априорных предпосылок, на которые неизбежно опирается всякое логическое построение. Недаром некоторые мыслители, например, А. Ф. Лосев, ищут сокровенный смысл вещей, углубляясь в природу слова. Оно — такая же элементарная данность, как, например, цвет. Краску можно изготовить химически. Но ее сущность — цвет — не в искусственном соединении составляющих ее веществ, а в не поддающемся анализу воздействии на наши чувства. Слово — явление сложное и загадочное. Неизвестно, как и откуда оно берется, непонятно, например, почему «дерево», «глаз», «цветок», «птица» или «звезда» называются именно так, а не иначе по-русски, а «Der Baum», «Das Auge», «Die Blume», «Der Vogel», «Der Stern» по-немецки или «arbor», «oculus», «flos», «avis», «stella» — по-латыни. Указания сравнительного языковедения на этот счет весьма скудны, гадательны и отрывочны. Речь — органическая ткань, в которой невозможно ничего изменить по собственному произволу, несмотря на то, что «le style c'est l'homme», что у каждого своя, опять-таки необъяснимо, почему, ему одному свойственная манера

выражаться, едва заметная, но несомненно отличная, как почерк или походка, от манеры всех других людей.

Подобно чертам лица, стиль — в основном одинаков, но бесконечно разнообразен и неповторимо единствен в каждом отдельном случае.

В области языка человеческий разум бессилен. Как бы ни было удобно и полезно предлагаемое им изменение словесной стихии, оно осуждено на неудачу по непонятным, но весьма упорным причинам, глубоко укорененным в природе вещей.

Так, одно время учителям французских школ было предписано заменить в преподавании ныне действующие, но неудобные *soixante-dix* (70), *quatre-vingt* (80) и *quatre-vingt-dix* (90) явно более логическими, простыми и удобными: *septante*, *octante* и *nonante*.

Принятая система особенно затруднительна для таких чисел, как, например, 98 (*quatre-vingt-dix-huit*) — четырежды двадцать восемнадцать.

Все-таки, несмотря на все усилия школьного начальства и на явное рациональное преимущество предложенной перемены (издавна безотказно действующей, например, в Бельгии или в Швейцарии), старая привычка восторжествовала, так что пришлось бросить эту затею и вернуться к неудобной, но по каким-то таинственным причинам неискоренимой, утвердившейся испокон века системе.

Литература — стихия слова, название, объединяющее весьма разнородные явления: и поэзию, и театр, и повесть, и эссеистику, и даже историографию, а с некоторых пор — также дневники, письма и журналистику. Она кончается там, где слово из цели становится средством, где, как в обыденной жизни, оно играет подчиненную, служебную роль. Пределом утилитарного использования слова можно считать железнодорожное расписание.

Но граница эта — относительна. Существование прикладной литературы законно при условии ее худо-

жественной оправданности, независимо от целей, которым она служит. Эстетическое качество слова сильно повышает его чисто практическую полезность.

Поэтому всякое использование слова для житейских целей — будь то деловая бумага, отчет о лабораторном исследовании или газетное объявление, поскольку оно отвечает вышеуказанным требованиям, может быть отнесено к литературе.

Наполеоновский кодекс гражданского права — непревзойденный образец французской прозы, по которому сам Стендаль учился писать, хотя его составители заботились только о ясности и точности формулировок. Резолюции Петра Великого на деловых бумагах, независимо от их исторического значения — шедевры русской художественной прозы начала XVIII века, хотя, понятно, сам Петр об этом не думал и, возможно, немало бы удивился, если бы ему на это указали.

Вообще слог официальных бумаг и даже медицинских работ иногда поражает точностью, тонкостью, гибкостью и изяществом изложения.

Поэтому под литературой следует понимать не тот или иной род произведений, но определенный качественный уровень, независимо от природы и назначения текста.

Однако этим понятие литературы не исчерпывается. Оно простирается бесконечно далеко — в области, ничего общего с жизненной практикой не имеющие. За пределами только что указанной практической сферы, лишь случайно соприкасающейся с литературой, расположена другая, весьма обширная область, более тесно с нею связанная, — гуманитарные дисциплины, «научность» которых, строго говоря, сомнительна. Но в силу вещей, представители их бывают вынуждены, часто в ущерб самому смыслу своей работы, придавать им хоть некоторое наукообразие, отчасти из-за свойственного нашей эпохе раболепного наукопоклон-

ства, отчасти ради приобщения к связанным с наукою немалым жизненным благам.

Не будь университетских кафедр по литературе, искусству и философии, люди, посвятившие им свою жизнь, были бы лишены всякой надежды на сколько-нибудь обеспеченное существование, хотя следует отметить, что при нынешних условиях, за редчайшими исключениями, такое обеспечение дается не наиболее одаренным представителям этих дисциплин, а наиболее «научообразным» то есть насилующим свое призвание в угоду существующим требованиям и предубеждениям, как правило, не бескорыстным. Такое положение — источник многих личных трагедий и тяжелых моральных испытаний. Всем памятен случай Этьена Жильсона, который в течение десятков лет вынужден был скрывать свои религиозные убеждения для того, чтобы в глубокой старости, достигнув вершин университетской иерархии, иметь возможность опубликовать труд своей жизни — «Историю средневековой философии», самое существование которой замалчивалось и даже отрицалось господствующими в Сорбонне материалистами. Наукопоклонство снижает также и моральный уровень нашей эпохи. Но это — отдельная большая тема, в подробности которой мы сейчас входить не можем. Если математика, астрономия, физика и подобные им предметы диаметрально противоположны всякому искусству, то в биологии описание играет значительную роль, приближая ее к гуманитарному началу и открывая определенное поле действий для литературы. Труды некоторых классиков медицины, как, например, Парацельса или Лээннека, представляют несомненный литературный интерес. Но и у биологии все-таки как бы два крыла — концом одного она примыкает вплотную к химии и физике, а концом другого — к гуманитарным наукам, к которым иногда причисляют и медицину. Многие труды по психиатрии, независимо от своей научной ценности,

бесспорно представляют литературный интерес, как, например, книги З. Фрейда и К. Г. Юнга.

Другое пограничное явление, находящееся между наукой «чистой» и гуманитарной, — география. Вопросы, связанные с астрономией, физикой, геологией и подобными им науками, составляют так называемую физическую географию. Но география человека связана с антропологией, этнографией, социологией и даже историей (геополитика). Всем, любящим Россию, мы горячо рекомендуем труды великого русского ученого П. П. Семенова Тянь-Шанского — в них они найдут великое множество конкретных сведений и великолепный русский язык.

Может быть, правильнее было бы отнести гуманитарные науки целиком к литературе. История и филология приближаются к науке тем, что орудуют конкретным фактическим материалом, но суть их не столько в накоплении, сколько в выборе и истолковании фактов, то есть в осмыслении. Фукидид, Тацит или Саллюстий ценнее для нас, чем Диодор Сицилийский, — не количеством и достоверностью приводимых ими сведений, а художественностью изложения и остротой мысли. Впрочем, они и не претендовали на «научную объективность», будучи откровенно близкими к журналистике. Хотя никто, конечно, не сомневается в их *правдивости*. Да и Гиббон или Моммзен, если они сохраняют интерес для нас, то прежде всего как художники.

Через пятьсот лет требования к истории будут иными, чем в наше время. Поэтому труды историка могут сохранить интерес только в том случае, если они обладают вневременной художественной ценностью. Учащающиеся в наше время тенденции обезличить историю, сводя ее через социологию (общие законы человеческого развития») к биологии и даже к математике, — лишь дань скоропреходящей моде. Даже сами большевики были вынуждены развенчать

Покровского, несмотря на его свирепую «научность», которая сегодня выглядит лишь курьезным анахронизмом.

В русской историографии продолжают играть крупнейшую роль одаренные художники С. Ф. Платонов и В. О. Ключевский (особенно последний, выдающийся стилист), несмотря на то, что оба они принадлежали к идеологически противоположным лагерям. Сущность истории — повесть о последовательных во времени событиях, о судьбах народа, как если бы речь шла о жизни и судьбе одного человека. Я сказал бы, что биография — есть история в применении к отдельной личности, а история — есть биография страны или народа. Основной стержень истории — история политическая. Внешняя политика — повесть о развитии государства как автономной единицы, борющейся за существование, за самосохранение, за утверждение определенной, внутренне связанной системы ценностей. Государство есть «я», по отношению к которому окружающий его мир есть «не я». Судьба государства зависит от его географической ситуации и от постоянно меняющегося соотношения сил в остальном мире.

Если главное оправдание жизни отдельного человека — в его способности к бескорыстию, к отказу от своих интересов ради блага «не я», для государства такой отказ есть предательство абсолютных ценностей, защита и утверждение которых составляют смысл и оправдание его бытия.

Идеалом как для отдельного человека, так и для государства была бы полная мобилизация всех своих возможностей для расширения себя в космосе, но на практике это почти никогда не удается — человек, как и государство, процветает или гибнет в зависимости от умения или неумения справиться со своими внутренними проблемами. Это уже вопрос силы воли,

причем овладение собой — первое условие для овладения внешним миром, «не я».

Личность — тот, кто принимает решение, волевая личность — тот, кто принятое решение выполняет. История занята диалогом между «я» и «не я», с учетом внутренних сил, определяющих их возможности и границы.

Назовем центростремительными силы, содействующие мобилизации «я», а центробежными силы, его демобилизующие.

Личность, делающая историю, — та, в руках которой сосредоточены нити исторического становления, независимо от ее моральных достоинств или практических способностей, — есть как бы «я» исторического процесса. Она борется на два фронта — на центробежном, против сил, ослабляющих государство (что и есть внутренняя политика), и на внешнем, против «не я». Можно сказать, что центробежные силы, то есть внутреннее «не я», имеется и у отдельного человека: это его искушения, слабости и пороки.

В каждый отдельный момент историю делает какое-нибудь одно лицо. Как бы ни были влиятельны советники и осведомители, «я» истории есть тот, кто принимает и выполняет решение.

Конечно, историография не в состоянии воспроизвести полностью всю сложность действительности, но она отражает также колебания, выделяя равнодействующую в борьбе соперничающих между собою сил. Историография — разновидность эпоса, отличающаяся фактической достоверностью повествуемого и намеренным изгнанием всякого воображаемого украшения.

Важна не природа излагаемых событий, а их направленность — их влияние на судьбу описываемой исторической единицы.

Вплоть до повальной наукомании последних десятилетий, историки всех времен и народов — и Дальнего Востока, и античного мира, и средневековые

летописцы — стояли на этих позициях. Не могли же они все сговориться между собою «в угоду привилегированным классам», — по-видимому, такое отношение к истории соответствует энтелехии историографии. Да и понятно, что при описании войны, независимо от степени любви историка к данному народу, планы полководца все-таки важнее действий отдельных солдат, эти планы выполняющих. Роль рядового может стать нормальным элементом исторического повествования только в том случае, если она достаточно заметно повлияла на выполнение или провал задуманного полководцем плана, то есть если данный рядовой выдвинулся в хорошую или в дурную сторону из безличной, анонимной массы, которая составляет объект, а не субъект истории. Немецкий солдат, выдавший планы Людендорфа союзникам накануне решительного сражения в 1918 году и тем, может быть, склонивший чашу весов в их пользу, в историю вошел, но рядовой такой-то (изуродованный хирургами или безвестно погибший), — какую бы жалость ни внушала нам его печальная участь, в *историю* все-таки не войдет, тогда как Людендорф или Фош вошли так же, как Ленин и Сталин (а не тот или иной анонимный «пролетарий», перевыполнивший план или погибший на баррикадах).

В пределе, конечно, каждое событие есть равнодействующая бесчисленного множества отдельных мелких фактов. Каждое действие, даже взгляд или помысел каждого человека, как бы незначительны они ни были, включаясь в бесконечную ткань причин и взаимодействий, прямо или косвенно непременно влияют на ход истории. Рядовой человек и не предполагает, что малейший его жест, даже никем не замеченный, неизбежно отразится на судьбах всего мира. В этом смысл традиционного воззрения, что ничто не остается сокрытым от всевидящего ока Божества.

Но проследить во всех подробностях путь, ведущий от жизни рядового человека к историческому событию, — превыше человеческих сил. Поэтому как бы далеко ни входил историк в подробности изучаемой эпохи, он неизбежно должен где-то остановиться, провести черту, сделать выбор между менее и более существенным.

Можно сокрушаться по поводу неумолимой жестокости истории, равнодушно кромсающей жизнь и судьбу бесчисленных маленьких людей, но такова ее природа. Она — суровая правда о неумолимой действительности, для смягчения которой есть другие пути, несравненно более трудные, но и более действенные, чем демагогия и самообман.

Если же находятся лица, утверждающие, что не Фош, Людендорф и даже не Клемансо или император Вильгельм вершили судьбами войны 1914-1918 гг., а какие-то таинственные «капиталисты», то это надо *доказать* документальными данными, иначе такое утверждение остается досужим вымыслом, не более достоверным, чем рассказы о жидо-масонском заговоре, якобы решающем судьбы мира.

Бездоказательно выдвигать на первый план, насилуя истинное соотношение вещей и сил, какое-либо одно из слагаемых исторического процесса, будь то экономика или преуспевание католической церкви, значит недобросовестно исказить перспективу, и долго такая фальсификация господствовать не может.

Бессмысленно сводить всё необозримое разнообразие сил, действующих в истории, к одному только корыстолюбию. Нисколько не преуменьшая его значение, смешно и наивно ради него одного закрывать глаза на все остальные проявления человеческой души — как отрицательные, так и положительные... А тщеславие? А властолюбие (которым особенно грешат марксисты)? А всевозможные пороки и страсти, среди которых любовь женщины играет далеко не послед-

ную роль? А зависть, а досада, а лень и нерешительность? А наконец, глупость?

По мнению лиц вышеуказанного сорта, корыстолюбие не только единственный и безошибочный стимул человеческой деятельности. Что это не так, видно хотя бы из того, что в своем ослеплении многие рабочие, содействуя захвату власти кучкой амбициозных доктринеров, воображают, что таким образом они смогут улучшить свое материальное положение. Не легче объяснить корыстолюбием поддержку, оказываемую *именно капиталистами* режиму, который не скрывает своего намерения их же уничтожить.

Бергсоновское понятие «длительности» (*durée*) весьма плодотворно в области истории, потому что в каждое мгновение, даже если не случилось ничего, заслуживающего быть отмеченным, происходит какая-то пусть неуловимо малая, но перемена, какой-то незаметный сдвиг в существующих положениях из-за самого факта течения времени.

Но полезно учесть также и фактор, который я назвал бы индивидуализацией времени. Не все одинаковые по размерам отрезки времени равноценны и равнозначущи. Время так же разнообразно и индивидуально, как и пространство. Как квадратный метр площади в Париже не тождествен квадратному метру поверхности Атлантического океана или тропического леса, точно так же час, проведенный на операционном столе, не тождествен часу любовного свидания, сидения в кафе или привычной работы в конторе или у станка.

Неравенство участков времени одинаковой длины достигает в области истории колоссального объема.

Иная бурная неделя важнее ряда спокойных десятилетий. Есть эпохи центрального, узлового значения, остро врезающиеся в память многих поколений, и есть долгие периоды, ничем особенным не отмеченные, периферические, подобные сонной жизни деревни.

К чистой летописи — регистрации следующих одно за другим событий — историография присоединяет осмысливание, изыскание причин происходящего и истолкование его значения. Здесь — зародыш философии истории. Мирозерцание историка неизбежно проявляется в его труде, как бы он ни старался быть объективным. Философом он становится лишь тогда, когда изложение события перестает быть целью, а становится элементом той или иной общей концепции, тех или иных возможных из него выводов.

Конечно, каждый историк волен считать сюжет своей работы самым главным. Если, например, его интересуют больше всего биржевые спекуляции, дамские моды или разведение земляники, то, естественно, у него получится соответственно история экономики, костюма или огородничества.

Основные события тоже можно рассматривать под разными углами зрения, но нельзя, не поступаясь при этом правдой и даже просто здравым смыслом, декретировать биржевые курсы, туалеты или аграрные рецепты данной эпохи сущностью в ней происходящего, объясняющей или определяющей собою всё остальное.

Существование экономической истории так же оправдано, как, например, существование истории модных причесок, садоводства и любой другой специальной области, но ни одна из них не должна вытеснять повесть о событиях и судьбах, то есть подлинную историю, ибо тогда подлинная история перестает быть сама собой и становится бессмыслицей.

Стремление же во что бы то ни стало, всякими правдами и неправдами представить настоящих деятелей истории в качестве случайных марионеток, могущих с таким же успехом быть замененными любыми другими, служащих ширмой для каких-то неведомых «классовых противоречий», якобы определяющих собою всю видимую историю, может только безнадежно

ее исказить, не поведав нам ничего нового. Это будет уже не история, а служащая лишь пропагандным целям, искусственно поддерживаемая мода.

Столь же безнадежны попытки сделать из социологии чуть ли не экспериментальную науку. Это такое же «деревянное железо», как и «экспериментальный» роман Золя, оказавшийся только взбалмошной затеей экзальтированного юноши. Но социология может иметь смысл как размышление о природе человеческого общества. И в этом смысле Конфуций, Платон, Ибн Халдун, Макиавелли или Монтескье — были социологами. Сомневаюсь, чтобы потомки предпочли им современных марксистов.

Такие социологи, как Бахофен, Фробениус, Ортега или Жюль Моннеро, значительные не только силой своей мысли, но и художественностью изложения, безотносительно более ценны, чем фактопоклонники, лишенные всякой способности к синтезу, или же доктринеры, насильственно втискивающие сложное многообразие жизни в прокрустово ложе своих, Бог ведает кому нужных, априорно установленных «законов», невозмутимо отбрасывающих без внимания всё, что нарушает геометрическую стройность их схем.

Эти последние забывают, что общество состоит из отдельных личностей, каждая из которых не только не тождественна никакой другой и незаменима ею, и что невозможно предвидеть, как отдельная личность будет реагировать на то или иное явление. Теория вероятностей может порою вычислить реакцию больших масс, но отдельные исключения, которые невозможно избежать ни игнорированием, ни насилием, неизбежно рано или поздно опрокинут хитроумнейшие ухищрения кабинетных теоретиков. Симптоматическое значение и решающий характер мелких, редко повторяющихся фактов весьма трудно переоценить. Напомним хотя бы историю открытия фраунгоферовых линий в спектральном анализе.

В областях же, касающихся человека, еще труднее отделить важное от неважного. Судьба одного человека, как и судьба всего человечества, одинаково значительны. История изобилует примерами, когда величайшие перевороты рождались из ничтожных на первый взгляд явлений, незамеченных современниками. Наоборот, дела, шумно одобренные большинством, обычно быстро забываются.

Таким досадным для социологов, непослушным исключением чаще всего оказывается человеческая личность, которую поэтому стараются всячески затушить и вытеснить из поля зрения исследователей, якобы потому, что она, будь это даже святой или гений, не имеет значения для науки, занятой исключительно большими количествами и общими чертами у большого числа индивидуумов. Для социологов Будда, Юлий Цезарь или Шекспир равнозначны любому безымянному обывателю, и занимает их только то, что они имеют с этим обывателем общего. Конечно, и это общее, как и всё на свете, может оказаться достойным изучения, но важно то, что в нашу эпоху распространяется стремление (в пределах возможного) свести значение человеческой личности к стадной, безличной и механической стороне ее существа. Механика остается скрытым идеалом науки.

Многие социологи предпочли бы, чтоб человеческая личность вообще не существовала. Легче и удобнее было бы изучать человека, если бы он был взаимозаменяемым, как термиты или сардинки. Лучше же всего жилось бы социологам, если бы каждый человек походил на другого, как гвозди, выпускаемые серийным производством. Но если наука пожелает остаться верной своим собственным основам, сформулированным, например, хотя бы Н. Страховым, она неизбежно должна будет оставить общее ради частного, общество ради личности, род ради особи, перейдя от

классификации к индивидуализации, от приблизительного к точности.

Как бы ни было велико значение каждого человека в отдельности, история может правильно исполнить свое задание, только останавливая внимание на главных деятелях исторического процесса. Социология же неизбежно искажает истину каждый раз, когда она отворачивается от реакций отдельной личности, которые невозможно ни учесть, ни предвидеть. Ибо такие отклонения — бесчисленны, они свойственны даже наименее развитым из особей, составляющих общество. Всё это неизбежно делает любой социологический закон приблизительным и относительным, лишенным всякой реальной ценности. Также и в истории нельзя установить никаких законов, хотя бы уже в силу наличия бергсоновской «длительности». Единственно возможный закон в гуманитарных науках — это неподчиненность человеческой личности каким бы то ни было заранее установленным правилам и законам.

Вся религиозная жизнь человечества основана на существовании искушения, то есть желания не подчиниться закону.

Любопытно, что в наши дни, когда социология всё больше погрязает в механических обобщениях, физика, бывшая до недавних пор одной из цитаделей наукопоклонства, быстро развивается от общего к частному.

В университетах Германии долго царило кокетливое пренебрежение литературной стороной философских произведений (увы, мысль от этого отнюдь не выигрывала). Из-за него такие корифеи, как Кант, Гегель, Шеллинг или Гуссерль, доступны для одних только специалистов. Но в той же Германии Шопенгауэр и Ницше прославились стилистическим блеском своих книг, и их принадлежность к литературе обычно не оспаривается. В последнее же время стремление преодолеть стилистическую неряшливость в германской

мысли всё усиливается, и величайшие ее нынешние представители — Хайдеггер, Николай Гартманн или Вальтер Беньямин замечательны и как писатели. Самое понятие философии расширяется и теряет свою техническую специфику. В ее орбиту все более втягиваются мистики — Мейстер Экхарт, Яков Беме, Франц Баадер, Гёте, «моралисты» во французском смысле этого слова, как и Лихтенберг или представители научных дисциплин, как Шпенглер или Фрейд. Все они — значительные художники слова.

Русская философия еще теснее связана с литературой. Леонтьев, Розанов, Шестов — одинаково велики в обеих областях. А. С. Хомяков, Вл. Соловьев (особенно в переписке), С. Франк, П. Флоренский, А. Лосев и Н. Трубецкой тоже были недюжинными стилистами. Из видных русских мыслителей только Н. Ф. Федоров остается за пределами литературы.

Связь мысли со словом — нерасторжима. Одна и та же мысль, выраженная иными словами или на ином языке, уже неадекватна себе. Удачная формулировка не только более убедительна (независимо от аргументации, как оно и происходит в характерном для России афористическом мышлении, например, у Бердяева, А. Белого, С. Л. Франка и др.), она также дополняет мысль оттенками, часто имеющими решающее значение.

Внутренним оком возможно мысль в какой-то мере увидеть или представить себе наглядно видимой. Понять мысль — часто означает ясно ее увидеть. Каждая формулировка неизбежно меняет, хоть и в незначительной мере, «картину» мысли — соотношение ее частей между собою, их форму, окраску и движение. А благодаря этому меняется и смысл целого; кроме того, такие перемены в подробностях зрительного изменения мысли наталкивают нас на новые, часто неожиданные пути ее дальнейшего развития.

Слово не воспроизводит мысль автоматически и адекватно. Сферы слова и мысли совпадают лишь отчасти. Не только значительная часть мысли остается невоплощенной за ненахождением для нее подходящего словесного оформления, но и слово часто вносит в мысль связанный с ним заряд понятий и ощущений, первоначально мысли не свойственный. Тут как раз и необходим литературный талант, состоящий в умении согласовывать замысел со словом.

Взаимодействие между словом и мыслью видоизменяет и слово и мысль: слово часто обесцвечивает, но уточняет мысль, которая, в свою очередь, придает слову гибкость, необходимую для воспроизведения оттенков замысла писателя. Поэтому для философа совсем не безразлично, как и какими словами пользоваться для выражения своей мысли.

Недаром некоторые из наиболее выдающихся современных философов придают слову решающую роль и даже используют его как путь мышления, например, Хайдеггер, Лосев. Согласно учению последнего, человек мыслит словами, ибо только через слово (имя) понятие приобретает определенные очертания. И у Франка философская проблема иногда сводится к проблеме словесной формулировки, великим мастером которой он был. В пределе идеалом была бы возможность уловить мысль в ее девственной цельности и полноте, такой, какой она вспыхивает в первый миг своего возникновения.

Неслучайно бесспорные вершины человеческой мысли — священные книги главных религий, Платон, Джелалэддин Руми, Нахман Брацлавер, Мейстер Экхарт и некоторые другие, — в то же время являются вершинами и художественного творчества. Но об этом подробнее — ниже.

Обычно литературные круги относятся к журналистике пренебрежительно. Словесный арсенал полемики именует «журналистом» неугодного писателя

или философа и, наоборот, журналиста, пользующегося благоволением, величают писателем, философом, а с некоторых пор — также и «ученым».

Понятие это, как видим, растяжимое. Тем не менее, памфлеты Пушкина, направленные против Булгарина, газетные заметки Розанова, фельетоны Дорошевича, Жаботинского, К. Крауса или Дж. Оруэлла бесспорно принадлежат к литературе, и притом самого высокого уровня.

Кое-какие права на литературу приобретает и репортаж. Но его обязательная злободневность еще мешает нам указать сейчас на возможных классиков этого жанра, хотя «Фрегат Паллада» Гончарова, «Сахалин» Дорошевича и «Путешествие в Эрзерум» Пушкина были по сути дела репортажем.

Репортаж отличается от литературы требованием документальной правдивости. Всякое естественное и общепринятое в романе украшение становится в репортаже недопустимой ложью. Несмотря на политическое или иное пристрастие, часто встречающееся даже у талантливых авторов репортажей, со временем, вероятно, из их несметного множества выделятся немногие единицы, будущие классики.

Некоторые из величайших шедевров мировой литературы написаны в драматической форме (Калидаса, греческие трагики и Аристофан, Шекспир и елисаветинцы, Кальдерон, Клейст, Стриндберг, О'Нил, а у нас — маленькие трагедии Пушкина и «Ревизор»). Если все это откинуть, литература потеряет свое высокое место среди творений человеческого духа.

Однако суть театра — не в литературном (часто весьма и чересчур литературном) тексте, а в зрелище, в действии и в движении, тем более театральных, чем они менее загромождены словесным материалом, принадлежи он даже самому Софоклу или Шекспиру. Но не всякое действие театрально, а только то, которое можно наглядно показать. Диалог также может

быть абстрактным, происходить в области духа, отвлеченных идей (аргументация). Он — форма не только театра, но и философской мысли: Талмуда, Платона, Достоевского.

Можно причислить к литературе и киносценарии, если их текст имеет самостоятельную ценность (независимо от их ценности для экрана): например, «Земля» Александра Довженко или «Строгий юноша» Юрия Олеши.

Но коснемся литературы в чистом виде, литературы бесспорной и безотносительной. Это — поэзия. Во всемирно-исторической перспективе, включая Дальний Восток, древнюю Индию и ацтеков, она признается главной, если не единственной, формой литературы всерьез.

Возьмем хотя бы Китай, столь далекий от нас и по складу ума, и по историческим судьбам. Испокон века его ведущая интеллигенция признавала литературой только поэзию и еще весьма к ней близкую по строю и умонастроению, тоже очень строго обусловленную, художественную прозу. Театр и роман считались только разновидностью народного развлечения. Китайская интеллигенция заинтересовалась ими лишь сравнительно недавно, под влиянием настроений, идущих с Запада. Так, после многих веков пренебрежения к фантастической новеллистике эпохи Тан, она была раскрыта выдающимся левым писателем Лу Синем лишь в двадцатых годах нашего века. Точно так же роман Цао Сюэ-циня «Сон в красном тереме», написанный в XVIII веке, получил заслуженно высокую оценку.

За исключением незначительных колебаний, подобное отношение к поэзии мы находим и во всех древних культурах Востока, и в античном мире, который высоко ценил театр, но пренебрегал романом как несерьезным развлечением для широкой публики.

Единственное исключение, что касается отношения к жанрам литературы мы находим у евреев. Но не из-за большей снисходительности, а из-за еще более высокой требовательности. У евреев рудименты романа влачили жалкое существование едва терпимого занимательного чтения для профанов. Даже поэзия признавалась недостаточно серьезным делом. Все усилия были сосредоточены исключительно на метафизике и на религиозном служении.

В современном мире, до второй мировой войны, в Англии, в Оксфорде и в Кембридже, где издавна готовятся кадры для руководящих постов Британской империи, преподавание основано главным образом на изучении классической литературы Греции, Рима и Англии, и опять-таки — в первую очередь поэзии и театра, во вторую — истории и эссеистики. Изучение романа, и то в небольших дозах, стало проникать лишь в самое последнее время. Не знаем, случайно ли совпал конец английского мирового владычества с упадком программы классической литературы в английских высших школах.

Вероятно, всё это не случайно. По сравнению с серьезной литературой роман — второстепенное явление, продукт общего расслабления социальной дисциплины и немаловажный симптом упадка.

Роман в современном смысле слова впервые появился в Испании в XVI веке под названием «плутовского» (*novela picaresca*), шедеврами которого остались «Ласарильо из Тормеса» неизвестного автора и «Гусман де Алфараче» Матео Алемана. Эти романы изображали живописный быт подонков общества. «Бускон дон Паблос» — роман одного из крупнейших и многостороннейших писателей того времени Франсиско де Кеведо — далеко уходит за пределы реализма чрезмерностью своей карикатуры.

Творчество Сервантеса отражает критический момент борьбы средневековья с мирозерцанием нового

времени. Острие «Дон Кихота» было направлено против рыцарского романа, главным образом цикла «Круглого стола» при дворе легендарного ирландского короля Артура. По мере выветривания своего основного эзотерического зерна, легенды всё удлинялись, пока не достигли слоновых размеров нескончаемых романов, развлекающих праздную публику забавными, но лишенными смысла приключениями. Против этого и возмутился Сервантес.

Но, будучи человеком переходной эпохи, восстав против досужей болтовни, заглушающей подлинный глубокий смысл мифа, он, вместо того, чтобы его восстановить, предался юмористическому бытописательству, зародившемуся в ту эпоху в «плутовском» романе, которому и сам Сервантес заплатил щедрую дань своими замечательными «Примерными повестями».

Но сам он не выдержал до конца своего насмешливого тона и не раз восторженно отозвался в «Дон Кихоте» именно о тех рыцарских доблестях, над которыми собирался посмеяться. В результате «Дон Кихот» — и в этом его ценность для нас — из убивающей смехом пародии стал лебединой песней и надгробным плачем над закатом рыцарского благородства.

Упорная живучесть «Дон Кихота» в веках указывает на неискоренимую потребность человека быть благородным, нравственно чистым, независимо ни от какого «соотношения производительных сил», среди отталкивающей буржуазно-материалистической пошлости, крайним, наиболее уродливым выражением которой стал марксизм-ленинизм.

Любопытно, что последняя книга Сервантеса, художественно, может быть, наилучшая, — «Приключения Персилеса и Сигисмунды» — полностью лишена какого бы то ни было бытописательства. В ней господствует фантастическая атмосфера и любовь к приключениям. Легендарный тон этой повести намного

ближе к романтической балладе, чем к реализму. Фактически этой книгой Сервантес блестяще воскресил именно то, против чего он собирался воевать в «Дон Кихоте».

В XVII веке влияние «плутовского» романа сказалось в Германии на «Симплициссимусе» Гриммельсгаузена, остающемся до сих пор лучшим немецким романом. По обилию и разнообразию жизненного опыта он не уступает испанским образцам, но превосходит их религиозной глубиной жизнепонимания. И все-таки он сильно устарел и представляет для современного читателя лишь относительный интерес.

Но расцвет реалистического романа совпадает с расцветом буржуазии. Начиная с XVIII века реалистический роман стал быстро развиваться в Англии, откуда вскоре перешел на континент. В XIX веке количество романов превышало всю остальную, вместе взятую, ими вытесненную литературу. Считалось, что роман наиболее «прогрессивная», наиболее отвечающая духу времени литературная форма, самая вместительная и «свободная», самая во всех отношениях совершенная.

Но уже накануне войны 1914 года стала выходить во Франции многотомная хроника Марселя Пруста «В поисках потерянного времени». С нее начался кризис романа, этого не оспариваемого никем до того жанра; с тех пор кризис всё более углублялся и разрастался, бесповоротно вышибая из литературы «реалистический» роман XIX века.

Место всё более вытесняемой, фактически сошедшей на нет фабулы занимают описания различнейших предметов и размышления автора о них, почти не связанные между собою не только повествовательной, но даже и логической нитью.

На этот раз можно согласиться с марксистами: роман с буржуазией вырос, она объявила его полноправным литературным жанром, с нею же он и сходит

со сцены. Джойс ушел еще дальше, чем Пруст, от образцов XIX века. У Андрея Белого роман стал серией логически не связанных между собою картин, следующих одна за другой не в хронологическом порядке, а по законам своеобразного словесного контрапункта. В конечном итоге жанр романа стал сливаться с жанром мемуарным.

И это не случайно, ибо большинство наилучших романов всегда были лишь более или менее замаскированными автобиографиями, хотя, конечно, никто не станет объявлять романами «Замогильные записки» Шатобриана или «Былое и думы» Герцена.

Франц Кафка творит уже мифологические параболы — прообразы, в которые, как в музыкальную фразу, укладывается любое конкретное содержание. Независимо от их клинического или мирозерцательного значения, «Истолкование сновидений» или «Неблагополучие культуры» Фрейда — изумительные художественные проникновения в безбрежные области внутреннего мира, равных которым не создал ни один писатель в обычном смысле слова.

Так или иначе, но роман реалистического типа всё равно закончился. А Пруст, Джойс или Белый — переходный этап к новым формам, еще не принявшим конкретных очертаний. В них гораздо больше лиризма, фантазии, мысли, самоанализа и даже политического памфлета, чем повествования и явно выдохшегося бытописательства. Романы Генри Миллера с полным основанием можно назвать философскими и литературно-критическими трактатами, а «Волны» Вирджинии Вульф или книги Самюэля Беккета — поэмами в прозе или, если угодно, «симфониями», согласно терминологии Андрея Белого.

Если же их продолжать считать романами, то придется таковыми объявить и «Химию» Менделеева, и «Капитал» Маркса, и, скажем, «Опавшие листья» Розанова — они тоже толстые книги в прозе. Ведь

договорился же почтенный профессор Г. Шолем до того, что даже «Зогар» — «мистический роман»!

Журнальные анкеты заговорили о «кризисе романа» во всеуслышание (вещь, невообразимая до 1914 г.!), а столь серьезные и уважаемые литераторы, как Поль Валери или Томас Элиот, позволили себе о нем непочтительно высказываться, причем этот факт даже не вызвал с заинтересованной стороны никакой резкой отповеди. Метерлинк просто объявил роман «литературой дикарей». И реалистический роман стал всё более возвращаться к своей первоначальной роли: развлечения для скучающих.

Ему на смену приходят иные литературные жанры: политический памфлет и документальное свидетельство.

Они уже имеют свои шедевры, могущие со временем оказаться классическими, как, например, «Дни нашей смерти» Давида Руссе, «1984» Оруэлла или книги Сюзанны Лабэн. Даже в симпатиях масс наступил явный перелом. Тиражи «Тьмы в полдень» Артура Кестлера, «Я выбрал свободу» Кравченко или пастернаковского «Доктора Живаго» намного превысили тиражи всех «занимательных» реалистических романов.

Думаем, что мы не преувеличим, если назовем А. И. Солженицына наиболее читаемым писателем XX века. Наверное, для всех ясно, что сила его шедевров, таких, как «В круге первом» или «Архипелаг ГУЛаг», отнюдь не в том, что они «романы», а в их потрясающем фактическом содержании, нисколько не вымышленном, а самое большее — замаскированном по понятным временным причинам. Эти книги относятся к категории политического памфлета и документального свидетельства куда больше, чем к категории романа.

И наоборот, серия, начатая «Августом Четырнадцатого», задуманная и выполняемая как роман, хотя будто и преследующая какие-то «практические» цели,

— явно неудачна, и приходится только пожалеть, что наш гениальнейший современник так непродуманно тратит свое время и свои силы, столь необходимые для других целей.

Надо еще указать на колоссально разросшийся, главным образом в англосаксонских странах, «полицейский» роман, серьезной литературой не признаваемый, но имеющий больше шансов на будущее, чем роман «реалистический». Он все-таки вносит нечто новое — холодное рациональное начало четко поставленной математической задачи и остро диалектического ее разрешения, отбрасывая весь веками накопившийся хлам условностей, загромождающий романы реалистические — и бытописание и изображение «типов» (Базаров, Обломов, Растиньяк или Микобер) — гибридные примеси, нагромождение которых и привлекает праздного, неспособного сосредоточиться на чем-нибудь одном читателя. В хорошем полицейском романе всё направлено к цели, как в трагедии Расина, каждая строчка которой приближает развязку. Его лучшие образцы отличаются трезвостью, прозрачностью стиля, стройностью архитектуры. Всё это требует изобретательности, мыслительной силы и таит в себе возможности дальнейшего развития. Возможно, что Эллери Куин, Дэшиель Хеммет или Картер Диксон окажутся достойными предтечами будущих классиков нового жанра.

Нельзя объяснить одряхление романа якобы охлаждением публики ко всякой литературе вообще. Ничего подобного наблюдать не приходится. Число любителей поэзии, всегда ограниченное, скорее расширяется. То же можно сказать и о философской и вообще о теоретической литературе. Мы живем в эпоху великой духовной жажды, неудовлетворенности существующим, трафаретом и повседневностью, всякой ложью и половинчатостью, стихийного роста интереса к метафизическим и духовным вопросам. Огромные

массы народа жадно кидаются на любую духовную пищу, даже сомнительного качества, в поисках и за неимением подлинной и достойной. Требующие порою немалого умственного усилия политические памфлеты расходятся большими тиражами, если только читатель надеется найти в них правду. То, что на самом деле происходит, — это охлаждение квалифицированного читателя именно к реалистическому роману, как это ни досадно сторонникам последнего.

Сто лет тому назад его существование было в какой-то мере оправдано: он был тогда новой формой, возможности которой стоило испробовать. Не случайно именно тогда появилось единственное в своем роде явление — действительно великого философа Достоевского, выразившего свое мирозерцание в форме романов.

Но тут реализм — только кажущийся. На самом деле роман Достоевского был синтезом усиленно драматизированного платоновского диалога с детективной фабулой. Ни университетской кафедры, ни собственного имущества, ни прибыльной профессии Достоевский не имел. Следовательно, ему было необходимо использовать единственную литературную форму, могущую хоть как-нибудь обеспечить ему и его семье хлеб насущный. Впрочем, к концу своей жизни, когда его материальные дела более или менее уладились, он всё чаще обращался к публицистике («Дневник писателя»), а в его романах философский элемент всё более вытеснял чисто повествовательную сторону. В «Идиоте» и «Братьях Карамазовых» размышления явно получают перевес над беллетристической, а «Бесы» — почти сплошь памфлет, лишь весьма слабо романизированный.

(Окончание следует)

Е. БРЕЙТБАРТ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВРЕМЕНИ И ПО СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Проза Виктора Некрасова после России

« — Доложите, что пришел Некрасов. — Из комнаты рядом с прихожей раздался веселый молодой хохот. — Неправда, неправда... Некрасов давно умер. Это я знаю точно. — И опять хохот. — А ну-ка введите этого самозванца».

1

Хотя в подзаголовке послероссийский период творчества Виктора Некрасова как бы отделен от прежнего, внутривосточного, но, по сути, речь пойдет да и должна идти о нем, то есть о творчестве, да и о писателе тоже. Я не ставлю себе задачу подробно осветить всё целиком, но хочу попытаться осветить хотя бы некоторые стороны его творчества. И именно две последние книги В. Некрасова*, написанные уже во

* Виктор Некрасов. Записки зеваки. «Континент», № 4, 1975 г. Отдельное изд. — Виктор Некрасов. Записки зеваки. «Посев», 1976.

Виктор Некрасов. Взгляд и нечто. «Континент», № 10, 1976; №№ 12, 13, 1977.

Франции, заставили меня об этом задуматься. С одной стороны, удивительная и довольно редкая вещь — Некрасов, живущий в Париже, это тот же самый Некрасов — киевский житель, не только в личном плане, но и в литературном. Словесная фактура, литературная интонация, литературный голос — те же, только, уйдя от цензуры, они стали более раскованными, а, следовательно, и более наполненными содержанием. Но *писатель* остался самим собой. А с другой стороны, — приводящие в минутное замешательство отзывы моих современников, берущих на себя смелость утверждать, что они воспитаны на высочайших образцах русской прозы (и сразу, конечно, имена Достоевского, Толстого, с некоторыми оговорками Солженицына...), и о В. Некрасове говорящих со смущением: «Но разве это проза? Интересно, конечно, но...». Тут и задумаешься, кого же *продолжает* собой В. Некрасов — писателя, автора «В окопах Сталинграда», или пусть даже интересного, но очеркиста, документалиста, эссеиста или еще кого-то с литературной периферии...

В России остались: «В окопах Сталинграда», «В родном городе», «Кира Георгиевна», отдельные сборники литературных и мемуарных зарисовок, миниатюр, журнальные публикации, сценарии и т. д., автор которых, судя по всему, был очень почитаем не где-нибудь, а в самом «Новом мире», да и читательской популярностью не обделен. Оно и впрямь — фальшивых нот у Некрасова можно насчитать совсем немного (но были, были, скажем, такие, как элегические миниатюры о Луначарском или Ж.-С. Алексисе), так что на обличительное исследование в белинковском ключе материала маловато. Поэтому и не стоит из-за них копыя ломать. Тем более, что и сам В. Некрасов сказал про себя честно, что принадлежал к той категории писателей,

«...которая не выполняла облагораживающих заповедей «жить не по лжи» — на собрания ходил, газеты читал (!) и если не отдал сына в школу и армию, то только потому, что его у меня не было. К тому же, как уже упомянуто, писал и печатался в советских журналах...»*

Да еще тридцать лет был коммунистом. И при всем том — всего совсем немного фальшивых нот! К этому надо добавить еще пришедшее с годами понимание, что печататься в советских журналах и издавать книги,

«скажем прямо — это не легко. С годами к тебе приходит опыт, к тому же многолетний тренаж набивает руку (тут самый раз схватить писателя за руку, ибо он не единожды чуть-чуть кокетливо — есть и такая кокетливость: серьезно-доверительная — называл и называет себя не профессионалом в литературе, а дилетантом. Тогда что же такое «многолетний тренаж»? — Ек. Б.) и с помощью умного редактора (а такие есть: для одних, например, А. С. Берзер из бывшего «Нового мира», для других — Л. К. Чуковская. — Ек. Б.) тебе удается сказать то, что хотел сказать, иногда даже так, что цензорский комар и носа не подточит. Но увы, это не всегда удается. Тогда начинают бить!»**

Если внимательно вчитаться даже в эти разорванные цитаты, то можно увидеть в них нечто присущее настоящей литературе, литературный подход, что ли, к самому процессу своей деятельности: во-первых, *хотелось* сказать; во-вторых, *удавалось* сказать; в-третьих, *хотелось* сказать именно своему *сегодняшнему* читателю — не в стол, не для будущего; в-четвертых, было *что* сказать; в-пятых, *до поры до времени удавалось* сказать. Дальше же, как говорится, зажатая в цензурные тиски форма уже не вмещала необходимого содержания... А ведь всё перечислен-

* Виктор Некрасов. Записки зеваки. «Континент», №4, 1975, стр. 33.

** Там же, стр. 33-34.

ное — это заботы чисто *литературные* — не публицистические, не журналистские, не мемуарные, не документалистские, а литературные. Но ведь я и веду речь о *писателе* Викторе Некрасове.

2

«...Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь выдуманного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что случилось им наблюдать в жизни».

Это предположение Л. Толстого о будущей литературе еще не оправдалось полностью, и сегодня еще сочиняют (в положительном смысле этого слова) — думается, слава Богу, — но несомненно тяготение наблюдается не столько к сочинению, когда писатель подчиняется негаснущей силе воображения, сколько к рассказыванию того значительного и интересного, что художнику случилось наблюдать в жизни. Вернее сказать, литература наметила внутри себя самой какую-то новую область, необходимость которой, например, в русской литературе впервые стала как-то особенно ощутимой с появлением «Былого и дум» А. Герцена. Перед этой эпопеей в смущении и смятении остановилась русская литература. Соединяя, синтезируя целый ряд уже известных, но до того времени по отдельности не причислявшихся к художественной литературе видов письменного творчества — мемуары, очерки, дневники, исповедь, публицистика, философское эссе, летопись, — «Былое и думы» несли в себе еще *нечто* такое, что позволило почти безоговорочно провести это произведение по разряду *литературы*.

Здесь я сделаю небольшое отступление. Перечитывая последние еще советские произведения В. Некра-

сова, я поспорила сама с собой, что не может такого быть, чтобы он хоть где-нибудь, хотя бы краешком не коснулся Герцена, не упомянул его. Теперь жалею, что не поспорила с кем-нибудь на нечто приятное, бургундско-малагско-наполеоновское, потому что, пожалуйста:

«...если говорить начистоту, то не мешало бы взяться за какие-нибудь «Былое и думы» — Герцен их начал лет в 40, а мне уже за шестьдесят, пора подводить кое-какие итоги...»*

И это было «непосредственное и искреннее желание поведать ... о своих сокровенных мечтах» (много-точие здесь означает пропуск лица, кому это было поведано — лицо малопочтительное, но в искренности и «сокровенности» автора сомневаться не приходится). Все-таки удивительная вещь! Вряд ли Герцен, хотя и имевший некоторый литературный опыт, но очень небогатый и не очень успешный, в процессе написания «Былого и дум» имел сокровенную мысль войти в большую литературу, а вот после него сколько писателей, написавших немало прекрасных книг, несли и несут в себе эту *сокровенную* мысль — написать, по выражению Некрасова, «какие-нибудь «Былое и думы».

Область литературы, о которой я веду речь, и теперь невозможно еще как-то четко отграничить, но уже можно хотя бы условно распознавать произведения, ей принадлежащие. Просто для примера. Среди прекрасных образцов этой прозы можно назвать две книжки Д. Аминадо — «Те баснословные года» и «Поезд на третьем пути», равно как и блестящую прозу Л. Чуковской об Анне Ахматовой (разве можно назвать это протокольным словом «дневник»?). Из добротных образцов можно назвать «Дневные звезды» Ольги Берггольц... Но наряду с такими имеется не-

* Виктор Некрасов. Взгляд и нечто. «Континент», № 10, 1976, стр. 23.

мало похожего на «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга — по точному определению Аминадо, «безудержная ложь и сладкая тошнота» (если «ложь» одинаково применима ко всему, то «сладкая тошнота» — это уже из арсенала литературных эпитетов). И, конечно, неповторимый по красоте образец в этой области оставил Э. Хемингуэй в своем «Празднике, который всегда с тобой». Примеров приведено мало, но даже и такое их число уже показывает широту диапазона этой области литературы. Правда, едва ли можно утверждать, что Хемингуэй имел перед собой в качестве образца Герцена, здесь Хемингуэй, пожалуй, ближе к предчувствию Толстого о будущей литературе. Но для русской литературы, с ее мучительными проблемами синтеза духовного с социальным, Герцен и по сей день — чаемая вершина.

Наиболее часто такую литературу определяют как лирическую прозу, но это определение, опять же, спотыкается всё на том же Герцене. Большой знаток механизма и тонкостей литературного процесса Андрей Синявский достаточно точно отделил «лирическую прозу», от герценовской, хотя и та и другая входят в одну область, сделав это на примере «Дневных звезд» Ольги Берггольц (она тоже в самом начале поклонилась Герцену):

«Но у Герцена — эпопея, а роман о человеческом духе О. Берггольц решен ею в эмоциональном плане и лирическом ключе. Поэтому сфера чувств и непосредственных впечатлений, мироощущение человека выдвинуты здесь на передний план (тогда как в «Былом и думах» господствует интеллект, миропонимание автора и его героев). Это не литературная биография эпического склада. В ней нет сюжета в его обычном виде последовательно развивающихся событий. В ней отсутствует даже такой признак эпоса, как временная протяженность повествования. Жизнь пишется целиком, сосредоточенная в одно мгновение. Она может вместить бесконечно много, может длиться целую вечность, но всегда

останется тем единственным д а н н ы м моментом, который есть признак, условие, измерение лирики, живущей настоящей минутой».

Это суждение А. Синявского само по себе прекрасно, но для себя мы сделаем довольно простой вывод: в этой области есть и эпопеи, и романы, и, наверное, повести, и рассказы, то есть литература как бы органически включила в себя то, на чем до этого строились совсем другие области письменного творчества; оказалось, что и этот материал можно отлить в чисто литературные формы, не маскируясь сочинением и выдумыванием (для последнего все равно остается бездна материала и возможностей).

3

Может возникнуть законный вопрос: а собственно, зачем предпринят весь вышеприведенный уход в некое теоретизирование а ля литературоведение? Просто у меня есть своя тайная мысль — попробовать доказать, что писатель Виктор Некрасов, сразу вошедший в литературу со своей повестью «В окопах Сталинграда» и закрепивший свое место в ней последующими произведениями, никуда затем из литературы не ушел — ни в чистую публицистику, ни в очеркизм, ни в журналистику; он так и остался в собственно литературе, всего лишь перестав прикрывать сочинительством. Думается, что вообще литературное сочинительство в каком-то смысле не в его писательском складе. Тут я могу сослаться на следующее. После первой книги В. Некрасов не раз возвращался к судьбам героев этой повести, да и к судьбе самой повести (например, писал о человеке, послужившем прообразом Валеги из «Окопов» или о переходе этого произведения в кино), тем самым как бы раскрыв и некоторые

свои чисто профессиональные секреты. И вот здесь-то и можно увидеть, насколько мало «сочинил» Некрасов в своей повести. Создается даже впечатление, что Некрасов как бы сознательно придавал ей традиционную литературную форму, в данном случае — повести. Ведь фактура самого материала была настолько мощной, что почти и не нуждалась в олитературивании. Разве не о том сказал Достоевский:

«Пересказать только то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! Между тем, это настоящий, исконный реализм. Это-то и есть реализм, только на глубине, а у них мелко плавает».

Нужно ли говорить, чем была война для духовного развития не только русского народа, и разве не кричали современные реалисты, то есть соцреалисты о первой книжке Некрасова, что это — фантазия и всё не так было (как потом еще более злобно кричали они об «Иване Денисовиче»)?!

А теперь от первой повести перейдем к последним по времени произведениям В. Некрасова. Представляют ли они собой просто интересные воспоминания, социологические очерки и т. п. или всё же это проза — в собственно-литературном значении термина — с внешними признаками очерка, документальности, социологичности, мемуаристики? Сказать, что повествование Некрасова обладает внутренней свободой формы, не связывая себя ни сюжетом, ни той или иной обязательной композицией, ни необходимостью быть поучительным или нравоучительным (этот набор определений кочует из одной литературоведческой работы в другую, когда речь заходит и об очерке, и о «документальной прозе», и о «лирической прозе») — а так оно у Некрасова и есть, — это значит почти ничего не сказать, кроме чего-то весьма общего, хотя,

наверное, довольно приятного как для писателя, так и для самого критика.

Тут уместно сделать еще одно отступление и обратиться к другому писателю, и вовсе не в целях сравнения его с Некрасовым, а чтобы побольше оттенить границы литературной области (пожалуй, я даже решусь сказать, что, склоняя на все лады слово «область», я говорю об области беллетристики, а то ведь под словом «литература» можно понимать и вообще все виды письменного творчества), в которой оба имени существуют. Этот другой писатель — Михаил Пришвин, который сам утверждал, что всю жизнь писал ... очерки, а, главное, сумел убедить в этом все советское литературоведение (правда, с легкой руки М. Горького), хотя, походящему определению учебников, очеркист первое, что делает, — это изображает какое-либо явление социального бытия. Значит, и пришвинский неярко-светлый, морозный, ломкий, как первый лед, клюквенно-морошковый, болотистый Север — всего лишь «явление социального бытия»?!. Нет уж, по этой части лучше обратиться к полярным рассказам Г. Свирского...

Ну, положим, явлений социального бытия у В. Некрасова куда как много (а у Радищева, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Толстого, Достоевского, а у всей русской литературы?!). Тут скажут мне: ну зачем же с такими именами сравнивать — ведь какие пласты они поднимали... Да я и не сравниваю, а об общем духе литературы говорю. Но ведь литературный процесс нуждается не только в тех, кто непременно глубокие пласты вскрывает, кому-то нужно это вскрытое описать и проанализировать средствами самой литературы, причем постараться это донести до как можно большего числа читателей и в форме наиболее близкой и понятной современнику писателя...

У. Фолкнер сказал как-то о Хемингуэе, что последнему

«посчастливилось найти метод, которым он полностью овладел, и ему *не приходилось, и не нужно* было, подчиняясь некоему внутреннему голосу, демону, тратить свои силы на попытки создать нечто бóльшее».

Не вдаваясь в сравнение методов по силе, можно сказать, что Некрасов также нашел в литературе *свой* метод, может быть, он даже уже вошел с ним в литературу, во всяком случае, думается, писатель не слишком много времени и мук потратил, чтобы найти его. Ведь творчество писателя Некрасова прошло в основном в периоды «реабилитанса» и «либеранса», которые как раз на литературе и прослеживаются наиболее отчетливо; тогда, хоть в течение какого-то времени, не надо было мучаться над вопросами, о чем писать, — лишь бы суметь выразить; и наш «самозванец» в литературе, или, как он любит подчеркивать, видите ли, дилетант, спокойно плыл себе по литературному морю, минуя все бури (о, только литературные, но далеко не житейские), со Сталинской премией (один этот частный пример, правда, не дает возможности воздать почести «отцу народов» еще и как «величайшему критику нашего времени») и партийным билетом в кармане, и всплыть не куда-нибудь, а прямо в «Новый мир». Замечу, что в «Новом мире» все работы В. Некрасова шли по разряду прозы и никогда — в разделах очерков, дневников или публицистики.

Что́ это за метод, я не могу даже приблизительно определить, то есть я не могу определить его перечнем набора конкретных приемов. Это скорее похоже на какую-то внутреннюю уверенность писателя, что он знает, как то, что хочешь, рассказать, быть в состоянии удержать в рамках, не дать этому распасться; как сделать это цельным и законченным. Конечно, всё это слова неточные, приблизительные. Но, может

быть, тогда уже В. Некрасов чувствовал, или знал еще где-то до вступления на писательскую стезю, или узнал, понял это в себе довольно быстро, уже находясь в литературе, *как* не стать похожим «на того мужика из толстовского рассказа, которому выпало счастье получить столько земли, сколько он может обежать в день от восхода солнца до заката» да еще, к тому же, такого, который «обыкновенно столько захватывает материала, что круг его не смыкается. А еще чаще, захватив своим обегом свою землю, бросает ее и обегает другую» (эта цитата взята все у того же М. Пришвина, и из нее убрано только одно слово — «очеркист»). Мне кажется, что немалую роль сыграло знание профессиональных тайн других видов искусства, с которыми Некрасов столкнулся вплотную до литературы, прежде всего — архитектуры. Конечно, это утверждение о влиянии — трюизм, но для моих целей его лучше оттенить. Как-то не дает мне покоя некрасовское подчеркивание своего дилетантизма в литературе, — что по отношению к писателю звучит парадоксально-приятно. Но посмотрим, что скрывается за этим парадоксом. В маленькой миниатюре о встречах с Вас. Гроссманом Некрасов написал (кажется, впервые написал), что он в литературе — любитель, а не профессионал, и пояснил:

«...я за то, чтоб писать когда хочется или когда об этом нельзя не написать» (выделено мною. — Е. Б.), хотя с годами стал смотреть на профессионализм «чуть-чуть иначе. Он, безусловно, необходим, но ... не надо им увлекаться. К знаменитому «Ни дня без строчки» я добавил бы: «Но не делай ни из дня, ни из строчки культа». Культ — вещь опасная».

Взятый на вооружение советской школой «литературного мастерства» афоризм Олеси, понимаемый в отрыве от него самого, вряд ли имеет смысл литературного догмата или аксиомы. Одержимость Олеси

метафорами, наверное, требовала как раз ни дня без строчки, равно как музыканту-исполнителю нельзя прожить и дня без ноты. Да ведь Некрасов за словом «дилетантизм» совсем другое спрятал — ведь это вечная дилемма Моцарт-Сальери, только выраженная на языке нашего времени. Да не дилетант писатель В. Некрасов, а просто посчастливилось ему с техникой писательской в том же смысле, как посчастливилось в свое время Хемингуэю; разное это счастье, из разных измерений, но одного литературного порядка, и редкое это счастье в литературе — найти равновесие (повторяю, речь не идет о сравнении двух литературных величин, я говорю лишь о сравнимости литературных ситуаций). И если вернуться к влиянию, которое, скажем, могло оказать знание архитектуры на нахождение его собственного «литературного метода», то своего рода «архитектурное мышление» дает писателю литературные средства, технику, которые трудно приобрести лишь научением, они даются талантом, но легче находятся, если имеется какой-то внелитературный опыт.

О чем, спрашивается, написаны «Записки зеваки» или «Взгляд и нечто»? (Замечу, что вопрос относится не к абстрактной живописи, где сама его постановка была бы несколько странной.) Да вроде бы о том, о сем. Ну, шел себе человек, зевал по сторонам, правда, не просто зевал, а подмечал, оглядывался на что-то заинтересовавшее его, по пути вспоминал разное, кстати и некстати... Тут ведь недолго и зазеваться, прошляпить важное или, чего доброго, под машину угодить... А ведь с точки зрения литературной «механики», вещь нигде не распалась, не растеклась, получилась законченной, то есть у этого так называемого зевания по сторонам есть не только внутренняя свобода (зеваки), но и внутренняя цель, и внутренняя логика (и уже не зеваки, а автора). А вся эта литературная кон-

струкция может быть описана так же, как В. Некрасов описывает киевский Пассаж. Жизнь можно было прожить в одной из его квартир и не заметить, в каком доме живешь. Теперь же В. Некрасов приглашает рассмотреть внимательно, не особенно торопясь, всю нашу и свою тамошнюю жизнь, даже не слишком углубляясь в философию или психологию (да слишком большой глубины и не вмещает некрасовская форма). Строится по кирпичику здание, называемое советской жизнью — по фасаду и изнутри и по сравнению с другими зданиями. В этом его, Некрасова, реализм. В этом его долг перед теми, кто остался — живым и мертвым. Ведь имя этому зданию — не просто советская жизнь, а *обыкновенный* социализм, без спорадических катастроф, без особых потрясений. Сгущенная, сконденсированная, эта *обыкновенность* дает не что иное как сюрреалистический, трансцендентный мир «зияющих высот» (по Зиновьеву). Пропущенная с нормальной скоростью, как это делает Некрасов, эта кинолента «обыкновенность» даже *похожа* на нормальную жизнь.

Когда-то В. Некрасов отметил свой интерес к необычному виду путешествий — «путешествию по времени».

«Нет, не в поисках морлоков, не к рыцарям короля Артура (что, впрочем, не менее интересно), а в поисках чего-то, что тебе дорого, необходимо, а рядом, увы, нет. А может быть, это поиски самого себя, путешествие по собственной жизни?».

Это — из его книжки «Путешествие в разных измерениях». И пусть нам, живущим сейчас с писателем Виктором Некрасовым в одном измерении, то есть за пределами России, иной раз может показаться, что его путешествие по времени несколько затянулось — ведь он ведет разговор, в сущности, не с нами, а с теми,

ГРАНИ

кто остался в другом измерении, и с теми, кто почему-то хочет попасть в него, им этот разговор необходим, как необходим он и самому автору, как необходимо любому человеку путешествие по собственной жизни.

Роман РЕДЛИХ

ПРАВОСЛАВНАЯ СХОЛАСТИКА

*Проблема подлинно сущего в
философии русских духовных академий*

Внезапный, для многих неожиданный, взлет русской философии в начале нашего века зачастую отождествляется с теократическим утопизмом Владимира Соловьева и с так называемым новым религиозным сознанием, с богоискательством Розанова, Мережковского и Тернавцева, центром которого были религиозно-философские собрания.

Это отождествление и верно, и неверно.

Верно, что начало этого века было временем кипения умов, временем поисков, встреч и бесконечных разговоров. Традиция кружковщины, столь характерная для русского XIX века, продолжалась и в XX, и письменные памятники, в том числе и перепечатанные в бердяевском «Пути» протоколы религиозно-философских собраний, сохранили нам лишь ничтожную часть того, что было тогда наговорено и обдуманно. Верно, что в русском богоискательстве Розанова, Мережковского и раннего Бердяева много интересного и соблазнительного.

Но верно и то, что это богоискательство несет на себе ту же печать мечтательности, некритичности и

дилетантизма, что и тогдашнее политическое революционерство, что это всё же, по выражению Чехова, лишь «интеллигентская игра в религию», лишенное твердого основания экзальтированное ожидание новых откровений, призванных исправить «историческую неудачу христианства».

И совершенно неверно, будто религиозно-философские собрания были главным источником русского философствования. Они оказали влияние на стилистические приемы Бердяева, Булгакова, Флоренского и Карсавина, но подлинные гиганты русской философской мысли — Лосский и Франк, так же, как и Иван Ильин, Вышеславцев и братья Трубецкие, — развивались независимо от богоискательства и богостроительства. Их творчество исходит из других традиций и сродно, на наш взгляд, скорее с тем направлением, которое неприметно для бурливой общественности росло и зрело в недрах духовных академий прошлого века. Займемся им.

1. ПРАВОСЛАВНАЯ СХОЛАСТИКА

Философская работа в русских духовных академиях вовсе не была в состоянии запустения, как это думали в прогрессивных кругах. Верно, что она была в значительной степени изолирована от широких кругов русского образованного общества и предназначалась главным образом для внутреннего потребления церковных кругов. Верно, что русская духовная школа и внешне, и внутренне сторонилась охватившего тогдашнюю интеллигенцию неистового секуляризма и что такие несомненно философские таланты, как Голубинский, Кудрявцев-Платонов, Юркевич и архиепископ Никанор Бровкович, оставались сравнительно мало известными даже в славянофильской среде. Но и перешедшие уже в наш век Несмелов, Каринский, Тареев, митрополит Антоний Храповицкий были не более из-

вестны. Их глухая академическая слава не выходила за пределы узкой среды профессиональных философов, и можно только пожалеть, что все они (за исключением разве архимандрита Бухарева), по справедливому замечанию историка русской философии Зеньковского, думали «не о сближении христианства и современности, а лишь о построении христианской философии» как таковой. Это шло, увы, против духа времени и вызывало у светски настроенных мыслителей ненужную и в сущности необоснованную подозрительность, сильно мешавшую ознакомлению с ними более широких кругов.

Философствование в русской духовной среде не было и не хотело быть беспредпосылочным. В духовных академиях задачу философии видели прежде всего в уяснении правды веры, в раскрытии и осмыслении содержания веросознания, в выражении веры в формах рационального философского мышления.

Мыслители этой школы ставили себе цель выразить в системе понятий то, что интуитивно открывается созерцанию веры. Как мысль ученого подчиняется внутренней логике науки, так мысль философа такой школы подчиняется внутренней логике веры. Философствование этого типа, как исключительно метко указывает Зеньковский (История русской философии, т. II, стр. 101), сродни средневековой европейской схоластике — разумеется, не в искаженно бранном, но в философском, полном уважения и признания значении понятия «схоластика». И если, по замечанию того же Зеньковского,

«...возведение в форму разумности данных веросознания соприкасается с идеями, оформленными вне христианства, то это совпадение само по себе не придает большей силы идеям, выросшим из веросознания, а лишь освещает их с новой стороны».

Очевидность божественного в бытии, раскрывающаяся

в акте веры, здесь равнозначна очевидности бытия вообще, а абсолютное бытие переживается как подлинно сущее.

Методологически эта форма философского исследования безупречна, и проблематичность ее сводится в конечном счете к анализу того, что именно идет в ней от живой личной веры, а что приписывается веро-сознанию по ошибке, будучи на самом деле продуктом внешнего воздействия.

Влияние такого типа мышления в России XIX века не могло не быть ограниченным. Оно было слишком несовместимо с господствовавшими тогда направлениями и предназначалось, казалось бы, лишь для церковных и околоцерковных кругов.

Последующее развитие, однако, заставляет всё чаще оглядываться на философскую мысль в духовных академиях прошлого века. Помимо прямого влияния Кудрявцева и Юркевича на Владимира Соловьева и Несмелова на Бердяева, непосредственное изучение их трудов открывает в них чуть ли не все элементы специфически русского подхода к философии, проявившиеся уже в самом рождении идеал-реалистического и персоналистического направления в ней в начале нашего века. У Голубинского, Юркевича, Кудрявцева, у Бухарева и Бровковича обнаруживаются корни тех же гносеологических и онтологических установок, которые мы находим не только у Лосского и Франка, но и у обоих Трубецких, у Флоренского, Булгакова и Ивана Ильина.

Не забудем, что в XVIII и XIX веках русские чувствовали себя всего лишь учениками европейской, главным образом немецкой, философии. Знакомство с гигантами немецкого трансцендентального идеализма воспитывало, но и подавляло собственное философствование. Россия XVIII и XIX веков рождала последователей всех (или почти всех) философских направлений: вольтерьянцев и масонов, шеллингянцев и геге-

льянцев, материалистов и позитивистов. И даже русское славянофильство и почвенничество было во многом наносным и европейским; оно было русифицированной редакцией по существу европейских идей.

Стоявшие в значительной мере вне современного им кипения умов, философы духовных академий тоже, разумеется, должны были занять позиции по отношению к европейской мысли. Но их позиции были особыми. Их философия не была простой служанкой богословия, а как бы сестрой его. И происходило это потому, что лично каждый из них опирался не только на свое собственное высоко развитое и, хочется сказать, «ухоженное» веросознание, но и на православное духовное наследие. Для епископа Никанора Бровковича, как и для Голубинского, Гогоцкого или Юркевича, мысли Иоанна Дамаскина, Григория Паламы и Михаила Пселла были вполне освоенным само собой разумеющимся багажом, не говоря уже о святоотеческой литературе, о концепциях Афанасия Александрийского, Василия Великого или Григория Нисского. Формально, рационально и сознательно философские курсы в духовных академиях занимались анализом и оценкой современной западной философии. Формально в них до самой середины века сказывался дух вольфианства, формально же всё более теснимый влиянием Якоби, а отчасти и Шеллинга. Формально в них не было ничего национально русского. Но внутренне в них билась живая православная мысль, вернее, православное веросознание. И если славянофилов можно с полным правом сравнивать с немецкими и французскими романтиками, то философствование в духовных академиях, зачастую даже не отдавая себе в этом отчета, питалось из православной византийской традиции, прослеживающейся до неоплатонизма Ямвлиха, Прокла и Псевдодионисия. Философия в русских духовных академиях вовсе не стремилась быть русской. Ее носители просто искали «здоровой философии», но

это искание было всё время несомо традиционно православным русским мировосприятием, которое и сказывалось во всех его оценках западной мысли. Симпатии к Платону, так легко обнаруживающиеся чуть ли не у всех русских мыслителей, — выражение именно этого традиционного, глубинного миропереживания.

Формально труды Голубинского, Кудрявцева, Юркевича или Бровковича входят в современную им философскую литературу. Они — далеко не всегда удавшийся опыт пойти в ногу с последним словом современности. Неудача тут почти неизбежна, ибо если вникнуть в суть, то оказывается, что это лишь попытка переодеть свое философствование в несвойственные ему одежды, втиснуть в неподходящую для него рамку, придать интуитивному видению форму subtilного анализа. Это очень затрудняет их чтение и топит порой потрясающе оригинальную мысль в рационалистической и дедуктивной форме изложения или в критическом анализе чужих построений. Ярчайшим примером может служить здесь изложенная в трех томах его «Позитивной философии и сверхчувственного бытия» попытка архиепископа Никанора (Бровковича) «строго позитивным методом показать законоправность метафизического умосозерцания».

Само понятие философии, а с ним и постановка задач несомы здесь непоколебимым убеждением в реальности Абсолютного. Уже в вышедшем в 1833 году первом русском «Введении в науку философии» Ф. Ф. Сидонского философия понимается как «эмпирическая метафизика», в которой эмпирические данные составляют «содержание» бытия, но не его «источник». Философия, по Сидонскому, хочет встретиться с Божеством, а в разуме есть «некоторое предчувствие» того, что мы находим в Откровении. А во вполне зрелой и всесторонне продуманной системе В. Д. Кудрявцева-Платонова, наиболее рационалистически настроенного

из всех философов рассматриваемого здесь течения, твердо заявляющего, что «для познания мира чувственного и ограниченно духовного, человеческого должно служить не созерцание и откровение, а разум и его законы», и для Кудрявцева философия остается «наукой об идеях». Она хоть и не имеет права начинать прямо с учения об абсолютном, но

«...идея абсолютно совершенного Существа есть та искомая нами коренная и основная идея нашего ума, в которой сосредоточиваются и объединяются все прочие идеи».

Немецкой идеалистической философией в наших духовных академиях занимались много и плодотворно. Но считать вместе с Лопатиным, что до Владимира Соловьева русские философы всего лишь высказывали свое мнение о философии своих западных коллег, как раз в отношении академических философов никак нельзя. Влияние немецкого идеализма в духовных академиях было господствующим только в первые сорок лет преподавания в них философии, когда профессора послушно знакомили студентов с метафизическим телеологизмом Лейбница в популярном в то время рационалистическом и дедуктивном истолковании его Христианом Вольфом. С созданием студентами Московской академии «ученых бесед», поддержанных тогдашним профессором философии В. И. Кутневичем, вместе с увлечением «философией чувства и веры» Фридриха Якоби, а затем Шеллингом и шеллингианцем Шубертом начинается самостоятельное мышление, сначала стремящееся к истолкованию немецких классиков в духе православного теистического платонизма, а затем прощупывающее и собственные пути.

Приведем здесь выразительную цитату из неоконченного анализа «нового рационализма» профессора Петербургской духовной академии В. Н. Карпова (отмеченную уже Зеньковским — «История русской философии», т. II, стр. 314):

«Человек с точки зрения Кантовой «Критики чистого разума» есть существо (если только существо), сотканное из понятий, восходящее и нисходящее по степеням категорической его паутины, закупоренное в чистые формы пространства и времени, из которых не только выступить, но и взглянуть не может, а между тем сознает, что ему, несмотря на бесконечную расширяемость этих форм, в них до крайности тесно, неловко, как птице в клетке».

Сам Карпов, занимавшийся — отметим в скобках — главным образом переводом Платона (он перевел и прокомментировал все диалоги за исключением «Законов») в своем «Введении в философию» (1840) сумел наметить лишь вполне платонический выход из клетки в трехъярусном построении миропознания: внешние ощущения чувственной реальности, идеи о мыслимой сфере бытия и, наконец, духовное созерцание Божественного, которые, сложившись в душе человека «в беспредельную космораму, сольются в один аккорд, в одну священную песнь Всевышнему».

ЦЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ

Ограниченность возможностей человеческого разума очень ясно осознается в «православной схоластике» нашего XIX века. И здесь хочется дать слово русскому гуссерлианцу Г. Г. Шпету, давшему в своем «Очерке развития русской философии» (стр. 178) следующую характеристику Ф. А. Голубинскому (1797-1854), которого можно без колебаний назвать основоположником самостоятельного философствования в русских духовных академиях:

«Философия, по Голубинскому, — пишет Шпет, — имеет своим предметом силы, законы и основания природы и духа человеческого, равно как и свойства Виновника их, Высочайшего Существа. Соответственно, как система познания, философия опирается на опыт внешний и внутрен-

ний, с одной стороны, на идеи ума, которые направляются на порядок и красоту целого, но также и на предполагаемые невидимые силы, скрытые под оболочкой чувственных явлений. Функция интеллекта (рассудка) при этом остается исключительно формальной, его дело — вносить единство в разнообразие, распределяя последнее по родам и видам. Однако это всё — лишь естественный источник познания. Над ними главный и первый источник, Откровение Единого, Истинного и Премудрого, которое, в свою очередь, есть Откровение естественное и непосредственное, само Слово Божие. Если понимание естественного познания, как Откровения, вносит известный мистицизм в философию, то, очевидно, «Слово Божие» есть для философии источник принципиально гетерогенный, делу посторонний. Голубинский это выражает, запрещая философии выходить за пределы непосредственного откровения. Но так как сверхъестественное Откровение для него несомненнейший источник несомненнейшего познания, то, разумеется, с точки зрения принципиально философской, Голубинский должен быть квалифицирован как скептик».

При такого рода «скептицизме» концепция Якоби с ее утверждением, что «вера» есть не что иное, как «разум» с полным сохранением трансцендентности объекта оказалась, по мнению Шпета, «драгоценной находкой», позволившей примирить традиционный платонизм православной мысли с критицизмом Канта, с идеализмом Фихте и Шеллинга и даже с Гегелем, с убедительностью передавая при этом действительное отношение познавательных сил в сознании. Как объяснение влияния Якоби на Голубинского и других философов в духовных академиях, соображения Шпета нужно признать остроумными, но поверхностными. В предпочтении Якоби Вольфу сказывается большее. Уже у Сидонского гносеология рассматривается как своего рода пропедевтика для космологии (онтологии). У Голубинского же само мышление как бы покоится в лоне бытия. Ему внутренне чуждо картезиан-

ское противопоставление бытия и сознания. Познающее «я» не замкнуто в собственной сфере и не чувствует себя вброшенным в инородное ему бытие. Онтологизм «Предмета знания» Франка, как и интуитивизм Лосского, здесь уже ясно предчувствуются. Сам процесс познания у Голубинского объясняется исходя из идеи бесконечного бытия. Понятие о бесконечном бытии служит для него предпосылкой всякого частного знания. Оно «врождено» человеку, и в нем заложена возможность восхождения от конечного к бесконечному на основе

«...того первоначального закона, по которому наш дух стремится к Бесконечному». «Идея Бесконечного есть первое и непосредственное начало всякого нашего познания», но в то же время «идея о Бесконечном не есть ясное созерцание Бесконечного, а лишь темное, тайное некое предчувствие Его, доопытное, — неисчерпаемое для определенных понятий разума представление о чем-то неограниченном».

Познавательный процесс, по Голубинскому, несомненно волею к познанию безусловной истины, и эта воля невыводима из эмпирической действительности. В своем изложении взглядов Голубинского в «Истории русской философии» (т. II, стр. 309) Зеньковский пишет:

«Даже больше: мы бы никогда не смогли в составе наших восприятий отделить себя, как «субъекта» восприятий, от объективного их содержания, если бы у нас не было устремленности к Безусловному. Почему? Потому что в самой чувственности (т. е. в составе восприятия) субъективное и объективное («я» и «вещи») слиты в неотделимой координации — наличность же устремления к Безусловному отделяет, бесспорно, условное (наше «я») от того, в чем перед нами предстает Безусловное, как противоположащий нам объективный мир. С другой стороны, в функциях разума, который перерабатывает материал чувственности по категориям, тоже не может быть корня для устремленности к Бесконечному, так как сами по себе категории, в приложении к чувственному материалу, не освобождают его от признака

случайности и условности. Вообще категории лишь в свете идеи Бесконечного становятся уже проводниками принципа безусловности».

Подлинное знание, по Голубинскому, есть таким образом всегда живое знание, охватывающее все существо человека, не только разум, но и волю, и чувство.

Для ученика и последователя Голубинского в Московской духовной академии, В. Д. Кудрявцева, которого Зеньковский справедливо считает создателем первой в России законченной философской системы европейского образца, «положительному, синтетическому построению философского мирозерцания должна предшествовать философская теория познания». Но эта теория познания ориентирована у него онтологически. Правда (вполне по Декарту),

«понятие собственного существования не выводится из какого-либо другого, более достоверного понятия, а есть прямой первоначальный и несомненный факт самосознания», но «наше сознание с той же необходимостью и несомненностью, с какой утверждает бытие собственного я и его состояний, утверждает и бытие не я или предметов вне меня находящихся».

И ему с самого начала предносится «идея абсолютного совершенного бытия, в которой включается и момент абсолютного знания», которое «оказывается третьим, основным началом нашего познания», потому что без нее, без понятия «истины», мы не могли бы судить об истинности или неистинности нашего знания.

Как для Голубинского и Кудрявцева, так и для архиепископа Никанора (Бровковича), идея абсолютного бытия и абсолютной истины есть перводвижитель знания. И для него «во всяком ограниченном бытии всегда имеется целое, единое беспредельное бытие», и «во всяком человеческом духе лежит сокровищница

идей — предпостижения объективной истины», причем понятие «идеи» у него не абстрактное понятие, но живое, хоть и неясное представление о целостной — познаваемой и непознаваемой — реальности. Природа вещей познается нашим разумом лишь на основе врожденных идей, которые и составляют исходное начало процесса познания

«...с каждым шагом к единству бытия абсолютного, вперед к этому бытию, исчезает рассудочная форма пространственности и временности, всякой случайности и применимости, всякой ограниченности».

Онтологизм такой теории знания, уходящий корнями к Николаю Кузанскому, а в конечном счете к Платону, сказывается совершенно ясно. Он возможен только при убеждении, что

«...беспредельное вошло в каждое свое порождение не долею своего, не дробью, не частью, а всей своей целостностью», и хоть «непосредственный опыт не дает нам абсолютного бытия — однако же ведет к нему хотя и посредственно, но неуклонно», потому что «сущность каждого явления вселенной, как и всей вселенной, как и человека, составляет единое и цельное, абсолютное бытие».

Именно вера в подлинно сущее «единое, цельное, абсолютное бытие» подсказывает философам духовных академий и стремление к непосредственному, синтетическому «цельному знанию», достигаемому особым умозрением целого. И здесь особенно ярко сказывается подмеченный, как мы видели, Шпетом «скептицизм» по отношению к рациональности. Уже у Карпова в его «Введении в философию» органом познания «служат все силы души, сосредоточенные в вере и ею просветленные», а «ум и сердце не поглощаются одно другим». У О. М. Новицкого речь прямо идет об усвоении знания «сердцем», а у Юркевича есть замечательная статья «Сердце и его значение в жизни человека», в которой понятием «сердца», по библейской тради-

ции, обозначается та, лежащая за душой «задушевная» глубина, из которой рождается и мысль, и чувство, и воля. Для Юркевича,

«...неосновательно утверждать с Кантом, что предметы даны нам через чувственность... что чувственность реализует разум. Как только мы перестаем судить, сравнивать, соображать, мир предметный исчезает и остаются только сцены во внутреннем чувстве».

А у Голубинского, в стремлении выйти за пределы логицизирующего разума немецкой философии, просто вводится святоотеческий «нус», «боголюбивый ум», как «высшая сила, в которой все прочие способности находят свое основание» и которую он ясно отличает от нижестоящей силы логицизирующего разума. И даже Кудрявцеву, по темпераменту и стилю мышления склонному к рассудочной дедукции, критикующему «совершенное отрицание прав рассудка в деле познания сверхчувственного бытия» у Якоби и отбрасывающего «интеллектуальную интуицию» Шеллинга, понятие «нус» представляется необходимым, тем более, что для него познание не должно носить чисто теоретический характер, но включать в себя и момент оценки, вплотную приближаясь к современной проблеме так называемых «оценочных суждений» и эмоциональной компоненте познания.

3. «ВСЕ ВО ВСЕМ»

В онтологии и космологии философов духовных академий мы легко обнаруживаем два характерных момента, выступающих в различных сочетаниях. Это учение о космосе как живом целом и о внутреннем начале жизни, центрирующемся в отдельных живых существах. В этих мыслях нетрудно почувствовать и «Мир как органическое целое» Лосского, и учение об

универсальном субъекте кн. Сергея Трубецкого, и «Органическое мировоззрение» Левицкого.

Уже Голубинский говорит о «всеобщей силе жизни», которая, однако, «не есть бесконечное Существо» и учит о мире как живом целом. Для него,

«...в каждом органическом бытии должно быть внутреннее средоточное начало, постоянное при всех внешних явлениях, — это и есть субстанция или начало внутреннее, само из себя действующее, на котором держатся все явления». «Нельзя решительно говорить, что в царстве минеральном действуют только силы механические и химические, чтобы в нем не было своих организмов... Силы притяжения и отталкивания держат в однообразном порядке все небо... не должно ли быть в центре некоторое общее начало деятельности каждой планеты, каждой звезды? Если и в травке есть постоянный центр, который удерживает и воспроизводит одинаковую форму этого растения, то в огромных (небесных) телах не должны ли быть внутренние начала, постоянно пребывающие, на которых бы держались и основывались прочие частные силы? В так называемом неорганическом царстве, например, на земле, нельзя не видеть организма».

По свидетельству его слушателя, епископа Феофана Затворника о душе мира учил и влиятельный в свое время выученик Киевской духовной академии и профессор Киевского университета П. А. Авсенеv. Сюда же надо отнести и мысль Юркевича о том, что философия есть дело не человека, но человечества, т. е. не только индивидуального, но и соборного общего сознания, мысль, во многом предвещающая построения С. Трубецкого и Франка. Но в полной яркости идея целостности и органического единства мира выступает у архиеп. Никанора (Бровковича):

«В чувствующих существах только концентрируется самоощущение, разлитое по всем химическим молекулам, — и в них весь мир чувствует себя, а в сознающих сознает. Наша душа, будучи высшим продуктом мировой жизни...

присутствует своим сознанием и ощущением во всех тех пространствах, где витает наша возбуждаемая мировой жизнью мысль». «Человек, разумное существо, есть в известном относительном смысле душа мира, и мир есть тело человека; человеческое разумное сознание есть самоощущение мира».

Одушевленное единство мира архиеп. Никанор отнюдь не отождествляет, однако, с сознанием. Он говорит о «практическом» разуме, действующем «бессознательно» в природе, причем

«...обе эти деятельности (сознаваемая и несознаваемая) образуют неразрывное цельное психическое единство». «Несознанный космический разум в каждом эйдосе совпадает с элементарной сущностью, а разум сознанный совпадает с сущностью индивидуальной». «Человек и человечество тесно, генетически связано со всей мировой системой, являет в себе, так сказать, наивысше развитую мозговую систему всего мира, являет в себе резервуар мирового разума, мирового самосознания и самочувствия».

Как видим, проблематика психического бытия, сознательного и бессознательного у архиеп. Никанора ставится отнюдь не картезиански. Индивидуальное сознание для него как бы покоится в общем душевном лоне, в «нашей» (если позволено здесь оглянуться на терминологию Франка) общей психической стихии, от которой оно неотделимо. В его подходе к психическому бытию, в его «космическом универсальном разуме» уже таится понятие «тварной Софии» позднейших софиологов, его эйдосы перекликаются с эйдосами Лосева, а его утверждение, что и неодушевленное бытие обладает «самоощущением», неким подобием психической жизни, предваряет учение Лосского о субстанциальных деятелях.

К пресловутому «основному вопросу философии», спору материализма с идеализмом, всё это не имеет отношения. Статья Юркевича «Из науки о человеческом

духе», напечатанная в «Трудах Киевской Духовной Академии» и в 1862 году перепечатанная в «Русском вестнике», привела, правда, в бешенство революционных демократов и обеспечила их автору оценку «врага прогресса» и «защитника эксплуатации» в III томе «Истории философии СССР». Но, как и в статье Гогоцкого «Два слова о прогрессе», содержащиеся в ней «выпады против материализма» — действительно лишь «выпады». На самом деле основной вопрос для рассматриваемой нами философии разработан тем же Юркевичем в статье «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта». Вот его суть в блестящем изложении Владимира Соловьева («О философских трудах П. Д. Юркевича»):

«Два и только два основных убеждения возможны для духа, поскольку он открывает свою действительность в познании. Одно из них состоит в том, что ему, как духу вообще, присущи начала, делающие возможным познание с а м о й и с т и н ы; другое в том, что ему, как духу человеческому, связанному с общим типом человеческой телесной организации, присущи начала, делающие возможным только приобретение о б щ е г о д н ы х с в е д е н и й... Первый взгляд, находящий возможным знание истины, развит в образцовом для всех времен совершенстве Платоном в его учении о разуме и идеях; второй, допускающий только знание общегодное, развит Кантом в его учении об опыте. Вот их соответствующие положения:

Платон: Только невидимая сверхчувственная сущность вещи познаваема.

Кант: Только видимое чувственное явление познаваемо.

Платон: Поле опыта есть область теней и грез; только стремление разума в мир сверхчувственный есть стремление к свету знания.

Кант: Мир сверхчувственный есть область теней и грез; только в области опыта возможно знание.

Платон: Настоящее познание мы имеем, когда движемся от идей, чрез идеи, к идеям.

Кант: Настоящее познание мы имеем, когда движемся от воззрений, чрез воззрения, к воззрениям.

Платон: Познание существа человеческого духа, его бессмертия и высшего назначения заслуживает по преимуществу названия науки.

Кант: Это не наука, а формальная дисциплина, предохраняющая от бесплодных попыток утверждать что-либо о существе души.»

Разрешение изложенной так антиномии — предмет философских исканий в духовных академиях. Стремление преодолеть неполноту истины критического идеализма, как и заведомую неполноту позитивного научного знания, основано здесь на убеждении, что душа человека знает больше, чем его мозг. Выразить это знание на языке современной философии — задача, над которой бились и Голубинский, и Карпов, и Сидонский, и Юркевич, и Бровкович, и Кудрявцев, прокладывая пути тому направлению, которое в XX веке стало обозначаться как «идеал-реализм», «конкретный идеализм», «органическое мировоззрение». Кудрявцев, сам создатель системы, названной им «трансцендентальным монизмом», сознавал это, пожалуй, яснее всех, утверждая, что

«...знание истины не есть только непосредственное признание ее или убеждение в ней, но и отчетливое, разумное сознание того, почему мы то или другое принимаем за истину».

Разрешение антиномии для Кудрявцева, как позже для Франка, следует искать в трансцендировании к общему началу, будь то антиномического противоречия, будь то противоречивых эмпирических данных, будь то исключających друг друга альтернатив. Именно в духовных академиях, и в особенности у Кудрявцева, мы находим методологически безупречное преодоление того ошибочного применения логического закона исключенного среднего («*tertium non datur*»),

которое, кстати сказать, так беспомощно выразилось в «основном вопросе философии», предлагающем непременно признать, что либо бытие определяет сознание, либо сознание определяет бытие. Кудрявцев недаром назвал свою систему «трансцендентальным монизмом», вполне в традиции академического мышления, усматривая «начало, объединяющее обе стороны бытия», «вне мира, т. е. в Существо, отличном от мира».

4. «Я ЕСМЬ СУЩИЙ»!

Создается впечатление, что у всех разбираемых здесь философов должна была бы проявляться склонность к пантеизму. На самом деле этого у них нет. Для Голубинского, «всеобщая сила жизни» вовсе не есть «бесконечное Существо». Для Кудрявцева, повторим еще раз, «идея абсолютно совершенного Существа есть та искомая нами коренная и основная идея нашего ума, в которой сосредоточиваются и объединяются прочие идеи»; его поиск тоже направлен в сторону *теизма*.

Не забудем, что философия в духовных академиях во всё время их существования вдохновлялась и направлялась веросознанием. Вера в личного Бога, сознательное приятие истин христианского Откровения — ее неизменная предпосылка. Понятие Божества имеет в ней конститутивный характер.

«В настоящем религиозном ощущении дана действительность ощущаемого, — пишет Владимир Соловьев, хорошо понимавший дух философствования в духовных академиях. — Действительность Божества не есть вывод из религиозного ощущения, а содержание этого ощущения, — то самое, что ощущается».

И в этом, исходящем из непосредственной данности Божественного Начала, переживании реальности Божества и лежит ключ к пониманию (как и к непониманию) этого типа философствования (ибо для неверующего сознательно оберегаемый теизм представляется неким предписанным сверху правилом игры, закрывающим возможность беспредпосылочно-го мышления. Так, нам кажется, воспринял Г. Шпет в вышеприведенном месте его «Очерка» философию Голубинского). Между тем, несомое верой переживание Божественного Начала неотрывно от осознания собственного бытия, так же, как и от осознания чувственного мира. Сомнения в реальности Бога однозначны сомнениям в существовании внешнего мира и в своем собственном существовании.

У Голубинского «идея Бесконечного есть первое и непосредственное начало нашего познания», и «душа потому лишь сознает себя единой, что имеет в себе образ Единого», а без этого «не было бы в нас и сознания о самих себе, как об едином центре окружающих вещей». «Бессмертие души» Кудрявцева содержит целый ряд элементов персонализма, исходящих из личного отношения к личному Богу, а его убеждение, что учение о творении мира есть «единственное обязательное для разума», толкает его к отказу вводить между Богом и миром какую бы то ни было «промежуточную сущность». А это отдаляет его от Вл. Соловьева и его последователей.

Совершенно недвусмысленно утверждает «премирное, не имманентное в отграниченном бытии самобытие абсолютного Существа» и архиепископ Никанор Бровкович, для которого в тварном бытии нет «ни истечения из абсолютного, ни отделения от абсолютного, ни развития абсолютного». Для Бровковича абсолютное бытие вовсе не есть субстанция конкретного бытия. Будучи всегда индивидуальным, конкретное бытие в своей «элементарной сущности (везде и

во всем единой) связано с абсолютным бытием, но в своей индивидуальности есть всегда «таинственное» самоограничение абсолютного бытия небытием». В этой своей трактовке сочетания абсолютного бытия с ничто Бровкович прямо примыкает к, без сомнения, хорошо известным ему учениям св. отцов и в первую очередь — Афанасия Великого.

И, наконец, профессору Петербургской академии, «гегельянцу» Н. Г. Дебольскому принадлежит как бы подводящая здесь итог формулировка: «Бог стал у Гегеля идеей, а не существом!»

Теизм рассматриваемых нами здесь философов, однако, плод не столько философского сознания, сколько религиозной веры, стихийно вдохновляющей и контролирующей весь строй их мышления. Их личное знание о Боге Живом удерживает их от пантеизма, к которому, казалось бы, влечет их и стиль и метод их философствования. И если в их построениях можно предугадать целый ряд элементов развития, которые должны будут выразиться у Вл. Соловьева, Франка или Флоренского, то корень идеи всеединства, занявшей такое большое место в русской философии, надо искать вне духовных академий.

Напротив, в духовных академиях именно в это же время намечается как раз другая линия развития, другой стиль философствования. Его можно почувствовать уже у Юркевича, с его противопоставлением «сущего» и «сущности», учением о «сердце» как средоточии «задушевного» и убеждением в том, что «не древо познания есть древо жизни» и не разум есть корень духовности. И при этом новом подходе проблематика подлинного или абсолютного бытия по-прежнему лежит в центре исследования. Но раскрывается она совсем с другой стороны. Не из мира вещей и идей, но из внутреннего мира личности, из сердца человека с его чувствами, волей, мечтаниями и стремлениями, с его добродетелями и пороками и, главное, с его непосред-

ственным знанием о Боге и своей вине перед Ним. Этот — назовем его смело «антропоцентрическим» — подход станет господствующим у трех «младших» академических философов: В. И. Несмелова (1863 — 1920 гг.), М. М. Тареева (1866 — 1934 гг.) и митрополита Антония Храповицкого (1864 — 1934 гг.).

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Подход этот несом в своей глубинной основе личным переживанием Бога Живого и богочеловеческой личности Иисуса Христа, иначе говоря, тем христианским веросознанием, без которого вообще ничего нельзя по-настоящему понять в философствовании русских духовных академий. Им продиктованы, по сути дела, чуть ли не все тогдашние оценки классического немецкого идеализма и формы его преодоления. Философы духовных академий слишком хорошо знают, что, кроме вещей и идей, в мире есть еще личности: Бог и люди. Осознание этого факта, наталкивающее нашу мысль на вопрос, «что есть личность?» — с замечательной краткостью и ясностью описано Владимиром Соловьевым в его статье «О философских трудах П. Д. Юркевича». Я позволю себе просто привести его здесь.

«Реализм во всех своих видах надеется познать сущность вещи, отделяя от нее все ее положения в системе вещей и отличая самую вещь с ее первобытными, ничем более не определенными, свойствами от всех таких положений. Идеализм, отрицая самую возможность таких первобытных вещей, изъясняет, напротив, всю их сущность из того разумного положения, какое имеет каждая вещь в системе мира. Это разумное положение определяется степенью участия вещи в идее, следовательно, тем местом, какое вещь занимает, как один из членов деления общего понятия. В спекулятивной методе предполагается внутреннее развитие понятия

до тех форм, которые даны на вещах или в вещах и которых фактическое существование будет, таким образом, превращено в разумное, или то, что есть, будет изъяснено из того, что должно быть по требованию идеи. Но если таким образом весь дух истинной философской методы состоит в убеждении, что действительное определяется мыслимым, то это не имеет ничего общего с тем странным учением, что идея сама себя осуществляет, что она есть свой собственный исполнитель в мире явлений, — учением, которое так много повредило новейшему идеализму. Должно различать идею, как причину, от тех деятелей, без которых эта идеальная причина не может быть причиной. Вечная истина не есть сила, она есть истина, и этим исчерпывается все ее бытие: *essentia eius involvit eius existentium*. Она осуществляется в потоке вещей действием той воли, которая полагает этот мир, как исполнительную власть, по отношению к идее, как власти законодательной. Если идеям должно быть приписано истинное бытие, то далеко не в том смысле, в каком мы приписываем бытие живым существам или субъектам. Только в реализме, который все содержание наших мыслей и опытов, все живое многообразие существ и отношений пригоняет к простому и бедному бытию безразличных атомов, — только в реализме категория бытия есть столь простая и косная, что с нею вообще нельзя ничего предпринять. По истине же бытие есть положение, принимающее различный смысл, смотря по содержанию, о котором мы говорим, что оно есть. Хотя справедливо, что идеи суть общее и что, следовательно, бытие постоянное и неизменяемое принадлежит общему, однако, отсюда не следует мысль новейшего идеализма, что общее есть то, что суть собственно вещи. Общее, идея, истина есть вечное, не произведенное субъектом, содержание разума. Бытие же способных к действию и страданию живых существ есть такое безусловное положение, которое не исчерпывается их познаваемостью. Царство идей, образцов, или вечной истины, далее, царство существ разумных, призванных познавать эту истину и питаться ею, и, наконец, призрачное существование всего телесного, — или мыслимое, сущее и явление — таковы три сферы истинной философии. Идеи имеют то существенное значение, что космос, который есть Сын Божий по Платону, должен испол-

нить всякую правду, лежащую в идеях, чтобы наслаждаться совершеннейшим существованием. Так как идеи суть система общих мыслимых оснований, то мы из них никогда диалектическим путем не выведем особенной индивидуальной жизненности существ, никогда не выведем мира того совершенно сущего, которому принадлежит жизнь, движение, душа и разум. Хотя существование его возможно только на общих идеальных основаниях, однако его действительность не обнимается логическою идеею сущности, потому что духовное начало, полагающее эту действительность, не есть сущность, а сверхсущественное. Как в естествознании, так и в философии не могут быть выведены, но должны быть найдены те основные факты, которые и суть таковы именно потому, что в них есть нечто несводимое на идеи разума. Если бы система идей была вполне для нас прозрачна, то, тем не менее, индивидуальное бытие живых и разумных существ представлялось бы нам как непонятная судьба, и содержащееся в идеях откровение о том, что есть, оставляло бы нас в полном неведении относительно того, кто есть. Только в непосредственном, внутреннем сознании через действительность нашего собственного духа открывается нам тот сверхсущественный дух, который то, что может быть (идея), переводит в то, что есть (действительность) посредством того, что должно быть (τὸ ἀγαθόν).

Итак: наш собственный дух, человек как субъект не только познания, но и деятельности — вот центральная тема в трудах В. И. Несмелова, вплоть до его смерти в 1920 году занимавшего кафедру философии в Казанской духовной академии. В человеке, в его духовном опыте, в самом его существовании и жизни заключена для Несмелова загадка всего бытия, но в нем же надо искать и разгадку. Главный труд его — двухтомное исследование «Наука о человеке» (том I — «Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни»; том II — «Метафизика жизни и христианское откровение»). Философия, по мнению Несмелова,

«...является специальной наукой о человеке не как зо-

ологическом экземпляре, а как о носителе разумных основ и выразителе идеальных целей жизни».

Бердяев, очень высоко ценивший Несмелова, подчеркивает, что для него

«...объект, который надлежит философии исследовать, есть факт бытия, а не мышления, жизненная тайна человеческого существа, а не тайна познающего субъекта».

Со свойственной ему остротой философского зрения, Бердяев отлично видит, что построения Несмелова никак не свяжешь с декартовским «я мыслю, следовательно я существую», и со свойственной ему страстью к парадоксам связывает Несмелова с Фейербахом. По его мнению,

«...основная мысль Фейербаха об антропологической тайне религии обращена Несмеловым в орудие защиты христианства».

В 1910 году в сборнике «Духовный кризис интеллигенции» еще не избавившийся от богоискательских увлечений Бердяев писал, что в свете философии Несмелова человек «узнает во Христе предвечно осуществленную, божественную человечность», и даже, что построения Несмелова — «это новое и вечное христианство».

И Бердяев, и Зеньковский сходятся в том, что в центре философствования Несмелова стоит человек, что ключ к пониманию философии Несмелова — в ее антропоцентризме. Этот антропоцентризм, однако, онтологичен. Человек для Несмелова в первую очередь сущее, а потом уже познающее существо. Так называемый «основной вопрос философии» Несмелов, казалось бы, решает в пользу бытия, а не в пользу сознания. Но это не делает его ни в коей мере материалистом.

«Основание бытия, — пишет Несмелов, — заключается в самом бытии, основание же познания о бытии заключается

в самом человеке... И основания достоверности этого познания нельзя отыскивать вне человека, а только в самом человеке, потому что достоверность относится не к бытию, а только к человеческому познанию о бытии».

Но дальше, однако, он уточняет:

«Бытие субъекта, как единственное бытие, известное самому себе, необходимо лежит вне всех возможных доказательств». «Факт бытия человеческой личности, как вещи в себе, непосредственно дан в самосознании человеческом, а потому, если человек думает о себе не как о явлении, а как о бытии в себе, как о сущности, то думает верно». «Начальный мир сознания может определяться в самом сознании не как субъективный и не как объективный, а только как существующий».

Мир этот изначально несет в себе неистребимое противоречие. Человек переживает самого себя как самосущую личность.

«Действительная жизнь человека, — пишет Несмелов, — определяется не природой его личности, а природой его физического организма. Та же идеальная жизнь, которая соответствовала бы его духовной природе, не может быть достигнута им, потому что она противоречит природе и условиям его физической жизни. В сознании и переживании этих временных противоречий человек необходимо приходит к сознанию себя, как загадки в мире».

В философии Несмелова слышатся трагические нотки, которых нет у «старших» — Голубинского, Юркевича, Кудрявцева. Характерное до того для филосоfovания в духовных академиях переживание слиянности человека и человечества с миром и с Богом, укорененности мира и человека в божественной стихии, сменяется здесь переживанием выброшенности из божественного лона в механическое бытие материального мира, под власть причинной необходимости. И не случайно не Лосский и не Франк, а именно Бердяев так высоко ставит Несмелова. Личность, обнару-

живающая себя в человеке, оказывается заведомо ущербной.

«При всех своих огромных успехах в культурном преобразовании действительности человек все-таки остается, в пределах и условиях физического мира, простой вещью в мире, которая и возникает и разрушается лишь в силу необходимых законов физической природы и потому неведомо зачем существует под формой личности».

Но тем не менее, именно

«...по содержанию своего личного сознания человек естественно стремится утвердить себя в качестве свободной причины и цели для себя, — т. е. стремится утвердить себя в качестве безусловной сущности». «Освободить себя от сознания этого идеального бытия человек ни в каком случае не может. Но сознавать и мыслить это идеальное бытие он может лишь в качестве недоступного для него. Поэтому в мышлении безусловного бытия человек необходимо сознает и действительность отображения его в себе и его действительную непринадлежность себе». «Человек не в каких-либо умозаключениях предполагает объективное существование идеального мира, но он непосредственно сознает в себе самом действительное существование двух миров — чувственного и сверхчувственного, физического и духовного. Он непосредственно знает о сверхчувственном бытии, ибо самого себя он не может сознавать иначе, как только в сверхчувственном содержании своей личности».

В философской антропологии, в анализе содержания человеческой личности, а особенно в той части нашего «я», которая стоит за моими сознательными мыслями, чувствами и потребностями, в той «задушевной» области «сердца», о которой говорил уже Юркевич, Несмелов видит источник веры и совести и ищет ключ к тайне Бога и человека.

Ибо для него (да и только ли для него!)

«...все стремления философской мысли отыскать Бога в мире являются совершенно напрасными. Мир не подобен Богу и ничего божественного в себе не заключает, а потому

он гораздо скорее может закрывать собою Бога, нежели открывать Его».

И тут нельзя не отметить, что мысль долголетнего профессора духовной академии Несмелова оказывается куда отважнее, чем мысль иных светских философов:

«Самое понятие абсолютной причины создано философией, — утверждает он, — не на основании космологических соображений, а только на основании библейского учения о Боге, как Творце мира».

Нет, по Несмелову,

«...религия не может быть сообщена человеку извне, а может возникнуть только в самом человеке, как живое сознание некоторой связи между ограниченным бытием человека и безусловным бытием Божества».

Обратите здесь внимание на слово «некоторой». Несмелов — верующий православный христианин, но он философ, а не догматик. Он исследует веросознание, но исследует его разумом и продвигается с критической осторожностью. Он, как Декарт, идет от того минимума очевидности, которая дана, как он думает, в каждом веросознании.

«Непосредственно человек, — пишет Несмелов, — не знает о том, в чем заключается его связь с безусловным бытием, — но самый факт связи все-таки дан налично в природном содержании самосознания».

Большого не дано. Кроме того, дан мир как «комплекс ощущений», как физический механизм, дано тело с его потребностями, дана душа с ее переживаниями и влечениями, дано бесчисленное число жизненных обстоятельств мира, который, — повторим еще раз, — «не подобен Богу и ничего божественного в себе не заключает». А поэтому для верующего сознания

«...обратиться к достижению истинной цели жизни че-

ловека значит то же самое, что и обратиться к сознанию невозможности осуществить эту цель».

Для Несмелова природному самосознанию человека как личности дано знать, что Божественное Начало есть, что человек как личность есть дух, что человек как личность не ограничен своей принадлежностью к миру природы, что факт связи с безусловным бытием «дан налично в природном содержании самосознания». Не больше, но и не меньше.

«Загадочное сознание безусловного идеала в условной нашей жизни означает для Несмелова только то, что человек носит в себе постоянное осуждение себя и сознание, что своими силами он не может осуществить того, к чему немолчно зовет его его нравственное сознание». Вот почему «люди нуждаются не в мудром учителе истинной жизни, а в Спасителе от жизни неистинной».

Дуализм человеческой личности, неразрушимо связанной как с миром природы, так и с миром идеальных ценностей, принимает таким образом у Несмелова ясно выраженный экзистенциальный и христианский оборот. Философствование переходит в богословие. Двойственность человека, по Несмелову, есть прямой результат грехопадения прародителей, которое в том и состоит, что «они подчинили свою душевную жизнь механической причинности и тем самым ввели свой дух в общую цепь мировых вещей».

Казалось бы, такой путь рассуждения означает разрыв с традиционным платонизмом православных духовных академий. Но это лишь внешняя, хоть и бросающаяся в глаза сторона антропоцентричного направления философствования. На самом деле такого разрыва нет, и мы еще увидим, как в новой, персоналистической форме наметится возвращение к платонической сфере, к абсолютному бытию, теперь уже не в составе мира, но в составе человеческой личности.

Это обнаруживается уже в философских работах современника Несмелова — профессора Московской академии М. М. Тареева, утверждавшего, что всё естественное бытие природы, в том числе и человек как тварь, равнодушны к нравственным ценностям. В своей вышедшей в 1916 году главной книге, названной «Основы христианства», Тареев пишет, что

«...надо признать разнородность сфер жизни, признать, наряду с Христовой духовностью, развивающуюся по своим законам естественную жизнь, природную и общественно-историческую».

Из принципиальной разнородности этих двух сфер вытекает невозможность смотреть на духовную жизнь, как на продукт биологического, а затем исторического развития.

«Для Евангелия, — пишет Тареев, — история — это море, в которое оно закидывает мрежи для уловления из него живых душ».

Сознание трагического разрыва между природой и религиозной верой у Тареева так же ярко, как у Шестова или Киркегора. И хоть нынешнее церковное «символическое освящение жизни» «должно переродиться в свободное сочетание религиозного духа и земной жизни с ее радостями и горестями», «двойство течений — естественно необходимого и свободно разумного», кажется Тарееву непреодолимым:

«Царство сыновней любви к Богу и абсолютных устремлений никогда не растворится в царстве природном. Этот трагизм надо признать лежащим в самом существе человеческой жизни».

В своих «Путиях русского богословия» Флоровский характеризует Тареева как «крайнего представителя морализма в русском богословии». Это верно, и если отвлечься от неудачных, в общем, попыток Тареева ввести в свое мировоззрение элементы прогрессивного

историзма, эту характеристику можно принять. Думается, однако, что в философском плане Тареева следует отнести скорее к направлению религиозного экзистенциализма, а его попытки разрешить трагическую антиномию между божественным и природным началом в человеке, между миропознанием и веросознанием, лучше объяснять духом и времени и внешними влияниями, которые ему так и не удалось увязать со своей основной интуицией. Ценность философского творчества Тареева, как, впрочем, и всех экзистенциальных мыслителей, не в объяснении мира, а в способности увидеть и ярко показать разнородность и несводимость к единому разумному основанию реального состава мира.

Философия Тареева, особенно в гносеологии, своеобразно перекликается с отнюдь не религиозными построениями идеолога русского народничества прошлого века — Лаврова, а отчасти и Михайловского — с их «субъективным» методом познания и страстью к моральным оценкам. Гораздо сильнее, однако, сказывается в его построениях влияние главы баденской школы неокантианства Риккерта, благодаря которому Тареев очень ясно видит в духовной жизни значение категорий смысла, цели и ценности. Для него в мире духа

«..всё, каждый момент рассматривается не с точки зрения действительного бытия, а в перспективе одобрения или неодобрения, близости к сердцу или отдаленности от него. Это уже не перспектива действительного бытия, а перспектива истинного бытия, ценного бытия».

И несколько дальше:

«Всё бывшее схватывается нашим сознанием в двояком отношении: в объективном познании и субъективной оценке».

Соответственно этому, христианство может, конечно, изучаться «как доступный научному изучению

исторический факт или как ряд догматических формул», но оно открывается нам во всей полноте «лишь как факт внутреннего опыта, как духовное благо, как ценность». То, что Тареев (вместе с Лавровым и Михайловским!) называет «субъективным методом», имеет в виду решающее значение нашего субъективного «я» и производимых этим «я» моральных и эстетических оценок. Его работа в этой области не доведена до конца и не приведена в систему, но в ней содержатся уже все исходные моменты той философской дисциплины, которая ныне называется «аксиологией», теорией ценностей и оценок, в дальнейшей разработке которой и заложено возвращение к общему, объективно действительному, но в то же время и личному абсолютному бытию. Заимствованное из терминологии русского народничества выражение «нравственно-субъективный метод» затуманивает здесь суть дела, не только порождая неуместные ассоциации с субъективным идеализмом, но и оставляя невыявленным как раз объективное значение этических и эстетических оценок. Ибо объективное заложено и действует в субъекте, причем не безлично, но входя в самую сердцевину личности важнейшей составной частью. Это станет, может быть, яснее, если мы в заключение рассмотрим своеобразный вариант персонализма, выразившийся в близком мыслям Тареева учении митрополита Антония Храповицкого о разделении «лица» и «естества» в человеческой личности.

Мысль митрополита Антония — и в этом, думается, и заключается ее ценность — есть простое применение древнего христологического различия между понятием личности и понятием природы в человеке к современной философской проблематике. Митрополит Антоний пишет:

«Разделение в нас лица и естества не есть нечто непонятное и отвлеченное, но истина, прямо подтверждаемая самонаблюдением и опытом». «Надо отвергнуть представле-

ние о каждой личности, как законченном, самозамкнутом целом и поискать, нет ли у всех людей одного общего корня, в котором бы сохранилось единство нашей природы и по отношению к которому каждая отдельная душа является разветвлением, хотя бы обладающим самостоятельностью и свободой».

Отметим, что под «природой» и «естеством» философ понимает здесь не биологическую, но духовную природу человека, что различие между лицом и естеством идет не от различия между душой и телом. Это, скорее, различие между личной, субъективной душой и всеобщими содержаниями духа, включенными в каждую человеческую душу. По мысли митрополита Антония, необходимо принять

«...учение об единстве человеческого естества, по причине которого одна личность может вливать непосредственно в другую часть своего содержания».

Историк русской философии Зеньковский справедливо считает, что это

«...различение естества и личности в высшей степени важно для философии персонализма», и указывает, что «в замечательных статьях по пастырскому богословию, в которых так много общефилософских идей, митрополит Антоний, предвосхищая будущие построения Франка, настаивает на том, что при духовном созревании человека его личное «я» всегда и во всем заменяется «мы». Там же учит митрополит Антоний и о возможности «упразднения незримого средостения, стоящего между человеком и человеком».

Но мало того. Митрополит Антоний подходит очень своеобразно к «динамической гносеологии», начатки которой можно найти и у известного славянофила Киреевского. Для Антония,

«...ослабление непосредственного противопоставления «я» и «не я» способно, по-видимому, видоизменять основные свойства человеческого самосознания». «Здесь-то и раскрывается истинный человеческий разум, доселе потемненный

греховностью нашего падшего естества». «А отсюда следует, что закон нашей личной обособленности есть закон не безусловный, не первоначальный, но закон сознания падшего».

Казалось бы, в противоположность Тарееву, так сильно подчеркивающему «субъективность» в духовно-душевном мире, митрополит Антоний стремится выделить объективные элементы духа в человеческой личности и противопоставить таким образом общечеловеческое «естество» индивидуальной обособленности «лица», конкретного субъекта познания и оценки. Это вводит элемент всеобщности, объективности, во внутренний мир, раскрывая сферу идеального абсолютного бытия как сферу ценностей, в служении которым преодолевается индивидуальная обособленность и складываются те междучеловеческие отношения солидарности, которые позволяют людям выговаривать слово «мы». Не стоит и говорить, что именно такой персонализм составляет фундамент социальной философии С. Н. Трубецкого и С. Л. Франка, политическое воплощение которого мы пытаемся выразить в идее российского солидаризма.

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуя настоящую статью, я решил не загромождать ее ссылками на литературу, практически недоступную читателям «Граней», и ограничиться указанием лишь на важнейшие для данной работы произведения разбираемых здесь философов. Тот же, кто постоянно живет за границей или имеет доступ к специальным книгохранилищам, может найти полный перечень сочинений упомянутых здесь философов старшего поколения и известной мне литературы о них в моей статье «*Philosophie an den geistlichen Akademien in Rußland*», написанной для нового издания известной энциклопедической истории философии — Friedrich Ueberwegs. *Grundriß der Geschichte der Philosophie, Reihe VII, Band IV, völlig neu bearbeitet, herausgegeben von Rudolf W. Meyer, Basel und Stuttgart.*

Архиепископ Никанор (Бровкович). Позитивная философия и сверхчувственное бытие. В трех томах. СПб, 1875-1888.

Ф. А. Голубинский. Лекции философии, записанные и изданные его учеником Назаревским. Москва, 1884-1885.

П. Д. Юркевич. Из науки о человеческом духе. «Труды Киевской Духовной Академии» № 4, 1860. (Перепечатано в «Русском Вестнике», 1862.)

П. Д. Юркевич. Сердце и его значение в жизни человека. «Труды Киевской Духовной Академии» № 1, 1860.

П. Д. Юркевич. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта. «Московские университетские известия», № 5, 1865-1866.

В. Д. Кудрявцев-Платонов. Сочинения в 3-х томах. Москва, 1893-1895.

В. И. Несмелов. Наука о человеке. Казань, 1898. (Имеются позднейшие переиздания.)

В. И. Несмелов. Вера и знание. Казань, 1913.

М. М. Тареев. Цель и смысл жизни. Москва, 1902.

М. М. Тареев. Основы христианства. В трех томах. Москва, 1916.

Митрополит Антоний (Храповицкий). Сочинения в трех томах.

Владислав КРАСНОВ

ВИКТОР КАРЛ МАРКС ФОН ФРАНКЕНШТЕЙН, ИЛИ ГЕНЕАЛОГИЯ КОММУНИЗМА

«...ибо чрезмерно ужасающим был бы эффект любой человеческой попытки имитировать изумительный механизм Творца мироздания».

Мэри Шелли

В этом году исполняется сто двадцать пять лет со смерти Мэри Уоллстоункрафт Шелли, снискавшей себе мировую славу романом о Франкенштейне. Наряду с такими произведениями как «Фауст» Гёте, «Моби Дик» Мельвиля, «Бесы» Достоевского и «Так говорил Заратустра» Ницше, роман Мэри Шелли заключает в себе один из важнейших мифов, завещанных нам девятнадцатым веком. Это миф о современном человеке, посягающем — посредством науки — на власть Зиждителя вселенной, но преуспевающим лишь в создании пародии на Его творение, пародии, угрожающей его собственному существованию. Начиная с 1818 года, когда роман впервые увидел свет, его успех среди читателей, а позднее среди кино- и телезрителей непрерывно возрастал. Мне думается, что этот успех объясняется не столько эскапическим влечением публики к ужасам научной фантастики, сколько тем, что она угадывает в романе свою собствен-

ную судьбу, судьбу так называемого современного человека.

Стоит только вспомнить о недавних попытках «научно» вывести расу господ, вдуматься в повседневно растущее разрушение жизненной среды, проникнуть в подоплёку весьма даже вероятной перспективы термоядерного всеожжения, чтобы усомниться во всем том научно-техническом направлении человечества, которое предрешено было на Западе именно в эпоху Мэри Шелли. Только теперь мы начинаем остро осознавать, что чудовищный урод, сфабрикованный Франкенштейном, не испепелил себя на костре самосожжения, как было обещано им в конце романа. Нет, со страниц романа он давным-давно сбежал и теперь привольно живет среди нас. До сего дня он не только остается неуловимым, но и продолжает буйствовать по всему миру, и число его жертв растет неуклонно.

К нашему вящему огорчению, мы начинаем также сознавать, что настоящая власть этого уroda более чудовишна и вездесуща, чем это кажется с первого взгляда, ибо свое уродство он скрывает за множеством личин и его ипостаси нелегко сразу распознать. В кичливом самолюбовании нашим прогрессом мы часто забываем, что ведь урод-то и его создатель тоже не сидели сложа руки, а со времен Мэри Шелли (и Пушкина) прогрессировали вместе с нами. Создатели поднаторели в пластических операциях лица, а урод научился скрывать это лицо даже и от создателей.

Не пора ли уж нам содрать хоть одну личину с франкенштейновского уroda и выставить на весь Божий свет истинное лицо, скажем, его политической ипостаси? Имя создателя — Карл Маркс, а имя его выродка — коммунизм.

Спешу заверить читателя, что, замыслив провести параллель между Франкенштейном и его выродком, с одной стороны, и Марксом и коммунизмом, с другой, я отнюдь не намереваюсь предаться «поносительству»

и «обзывательству». Что касается коммунизма, я успел взглядеться в его советское лицо до тошноты и не стану скрывать, что нахожу его чудовищно безобразным. Но ведь если и заядлые коммунисты и марксисты никак не могут разыскать коммунизм с «человеческим лицом», то что же взять с меня, беглого? Могу только подтвердить тщетность их поисков. Еще менее склонен я поносить «крестного отца» коммунизма. Напротив, к нему я невольно питаю даже своего рода симпатию. Ведь доведись ему жить в той обетованной стране, которую он предрекал, наверняка оказался бы он среди искателей выездной визы в Израиль, в страну, созданную вопреки и наперекор его «науке» (конечно, при том условии, что ему удалось бы пережить сталинские чистки, что тоже весьма сомнительно). Это случилось бы даже не столько из-за его еврейского происхождения, сколько из-за неисправимого индивидуализма, заложенного в основе его личности. Такому индивидуализму трудно ужиться в любом обществе, а с советским «коллективом» он просто-напросто несовместим. Кстати, Маркс сам указал на эту определяющую черту своего характера, когда провозгласил своим лозунгом строку из Данте: «*Segui il tuo corso, e lascia dir le genti*»¹. Поскольку мое собственное инакомыслие было сильно поощрено той же самой строкой, поскольку я в конце концов и впрямь последовал своей дорогой — из СССР и от красного знамени, — я вправе даже сказать, что мои чувства к Марксу не исчерпываются естественной жалостью и симпатией к его плачевному состоянию.

Итак, сравнивая Маркса и коммунизм с Франкенштейном и его отпрыском, я не ставлю цель подлить масла в огонь политических страстей. Моя задача двояка. Во-первых, посредством литературного анализа я надеюсь определить чревычайно сложные и запутанные взаимоотношения между коммунизмом и его основоположником. Во-вторых, уж коль взялся за

гуж, я хотел бы прояснить — с помощью художественного мифа — природу коммунизма и марксизма в контексте духовного развития Запада, и не только Запада.

1. DER ZEITGEIST: БОГОБОРЧЕСКОЕ ПРОМЕТЕЙСТВО

«...чтобы пролить поток света
в наш мрачный мир».

Вполне возможно, что тот факт, что Карл Маркс родился в том же самом 1818 году, когда увидел свет и Франкенштейн, — чистая случайность. Но то, что они оба суть дети одного и того же духа времени в истории западной цивилизации, совсем не случайно. Полное заглавие романа — «Франкенштейн, или современный Прометей» — содержит в себе прямой намек на то, в чем этот «Zeitgeist»* заключался: романтический бунт современного человека против всех богов установленного мира. Прометей античного мифа фигурирует здесь как символ, как знамя теомахической, то есть богоборческой, направленности этого бунта. Давно уже перехлестнув за пределы Запада, в настоящее время этот бунт стремится охватить весь мир.

Богоборческое направление в западной цивилизации восторжествовало впервые в середине XVIII века, когда «просветителям» удалось представить себя в глазах общественного мнения единственными поборниками мирового прогресса. С помощью лицемерного понятия «деизм» они свели роль Творца к роли часовщика, который якобы лишь завел часовой механизм вселенной и потом отрекся от трона. Что касается практических последствий этой «просвещенной» теории,

* Der Zeitgeist (с нем.) — дух времени. — Р е д.

они вскоре проявили себя в ожесточенной антихристианской волне Французской революции. Несмотря на то, что революция эта была преодолена Наполеоном, а Наполеон побежден объединенными усилиями христианских монархов, богоборческий поток в европейской культуре не только не был остановлен, но продолжал бушевать в ней и в посленаполеоновскую эпоху. В поэзии он нашел свое выражение в заигрывании с демоническими силами и в воспевании всякого рода падших ангелов. В прозе — в прославлении предшественников «сверхчеловека» — героев смелых, гордых и одаренных, но одновременно хищных, безжалостных и безбожных, таких, как, например, Жюльен Сорель в романе «Красное и черное» Стендаля. В философии — проявлялся и в гегелевском оправдании «великих исторических личностей», попирающих «невинные цветы», и в штирнеровском восславлении эгоцентрических индивидуалистов. Наконец, в действительности из него восстало целое племя «наполеончиков», которое не столько определяло собой государственную и военную деятельность, сколько сказалось в совершаемых преступлениях, деячестве и прелюбодеянии.

Мэри Шелли не исполнилось и девятнадцати лет, когда в 1816 году в ее воображении зародился миф о Франкенштейне и его выродке. К тому времени она уже успела близко познакомиться с богоборчеством своей эпохи, выступавшим в его наиболее романтических одеяниях. Она была не только дочерью атеистически настроенных социальных утопистов Уильяма Годвина и Мэри Уоллстоункрафт, но и женой Перси Биши Шелли, автора «Освобожденного Прометея», и близким другом Байрона, вынашивавшего в себе «Манфреда» и «Каина». Именно по совету Байрона взялась она за создание повести ужасов — и так набрела на Франкенштейна. Не исключено, что ее роман был также выражением беспокойства и сомнений

молодой девушки, хорошо знавшей умственные настроения ее приятелей-поэтов, которым было суждено возвестить в поэзии наступление богоборческого этапа западной цивилизации, в котором мы всё еще живем. Ей дано было заглянуть дальше ее знаменитых собратьев-мужчин и прозреть неизбежные последствия богоборческих устремлений, которым она, вероятно, до некоторой степени сочувствовала.

Промышленная революция, в которой Англия Мэри Шелли вела за собой другие западные страны, подсказала ей еще одну арену современной теомахии: естественные науки. В то время как богоборцы-деисты XVIII века, вынудив Бога якобы отречься от Его повседневной власти, не решались бросить Ему вызов как Творцу мироздания, богоборцы-романтики, ободренные успехами науки в ходе Промышленной революции, осмелились перешагнуть пределы Его деистических владений и поставили под вопрос Его полномочия как Творца.

Франкенштейн представляет собой любопытную смесь романтического стремления постичь непостижимое с достаточно просвещенным и прагматическим интересом к последним достижениям естественных наук. Хотя автор не делал отчетливых усилий изобразить Франкенштейна сыном романтической эпохи, его интерес к средневековым алхимикам Альбертусу Магнусу, Корнелию Агриппе и Парацельсу указывает именно на его романтическую склонность. Он стремится соединить свои поиски «эликсира жизни» и тому подобных «химер безграничного величия» с практическим применением последних научных открытий в области электричества и гальванизма. Его цель — создать на трупном материале живое человеческое существо. Вот как он сам объясняет эту цель:

«Жизнь и смерть представились мне идеальными пределами, через которые я должен, прежде всего, переступить,

чтобы пролить поток света в наш мрачный мир (выделено мной. — В. К.). Новая человеческая порода благословит меня как своего создателя и источник; множество счастливых и совершенных созданий будут обязаны мне своим существованием. Ни один отец не может рассчитывать на более полную благодарность своего отпрыска, чем та, которую я заслужу от них»².

Главное вдохновение для своего сугубо творческого проекта Франкенштейн черпает из желания соперничать с Богом. О происхождении этого желания мы ничего не узнаем из романа, но из приведенной выдержки ясно, как Франкенштейн пытается оправдать это соперничество. За его рассуждениями скрывается упрек Богу в том, что он создал «наш мрачный мир». В пику Богу он обещает создать «новую породу», которая, в отличие от существующего человечества, будет состоять из «счастливых и совершенных» людей. Поэтому желание Франкенштейна «пролить поток света в наш мрачный мир» приобретает смысл, значительно разнящийся от того, который обычно связывается с древнегреческим мифом. В этом мифе, увековеченном в трагедии Эсхила, Прометей выступает в роли огненосца на благо человечества, которому угрожает ярость богов. Во Франкенштейне же мы скорее узнаём не столько потомка Прометея Огненосца, сколько наследника Прометея Глиномаза, Демиурга-творца, фигурирующего в других вариантах античного мифа. И «поток света» намекает здесь не столько на дар огня, сколько на интеллектуальный «свет науки и просвещения» в стиле XVIII века. Надежды Франкенштейна на абсолютную благодарность новой людской породы предвещают однако, что он отнюдь не будет довольствоваться — подобно деистическому богу — всего лишь ролью «бывшего» творца, но будет настаивать на активном поклонении ему как Человеко-богу.

Виктор Франкенштейн, как известно, «преуспел» в своем проекте создания «новой людской породы», но только, чтобы потом в панике бежать от своей «виктории». Правда, после того, как созданное им чудовище принесло смерть и несчастье его собственной семье, он посвящает себя всецело задаче уничтожения своего отпрыска. Но, увы, эту задачу ему так и не удастся выполнить. Ирония замысла романа состоит в том, что достичь победы при помощи науки гораздо легче, чем справиться с ее последствиями. В данном случае ученый «сотворил» не человека, а человекоподобное чудовище, безобразного уroda, изверга, злодея, дьявола и ворога — это еще не полный список его имен в романе — себе же на горе. По мнению Мэри Шелли, такой оборот дела неизбежен, «ибо чрезмерно ужасающим будет эффект любой человеческой попытки имитировать изумительный механизм Творца мироздания»³. Что касается плачевной судьбы Франкенштейна, она представлена в романе как вполне заслуженное наказание не за его любознательность и филантропию, а за преступное себялюбие и гордыню, приведших его к соперничеству с Богом. Как он сам вынужден признать, «подобно архангелу, посягнувшему на всемогущество, я обрек себя на вечные адские муки»⁴. История Франкенштейна являет собой наглядный пример плачевных последствий современного богоборчества на арене естественных наук и служит полусторастолетним предостережением против попыток секулярной науки Запада превзойти Бога с помощью научных открытий.

В более общем смысле роман предостерегает против всех и всяческих богоборческих устремлений современного человечества, будь то в области науки, искусства, государственной деятельности или социальной утопии. Эта обобщенность и универсальность достигнута тем, что Мэри Шелли предоставила Франкенштейну, швейцарскому ученому, поведать свой

горький опыт Роберту Уолтону, разочарованному английскому поэту-романтику. С целью компенсировать себя за свою безответную любовь к музе поэзии, Уолтон предпринимает путешествие на Северный полюс. Там он надеется найти земной рай или открыть тайну земного мироздания. Во всяком случае он хочет заслужить благодарность людского рода «до конца поколений». Уолтон изображен как штурман-благодетель человечества, то есть в конце концов как воплощение того же самого прометеевского начала, которое характерно как для Франкенштейна, так и для всей западной цивилизации новейшего времени. Северный полюс символизирует в романе именно крайность, экстремизм таких устремлений, питаемых богоборческой страстью и завистью к Богу как высшему «штурману» человечества. Правда, Уолтон в конце отказывается от своего плана: во-первых, корабельная команда грозит ему мятежом (намек на нежелание масс нести на себе бремя безумного честолюбия одиночек); во-вторых, Уолтон не мог не извлечь урока из исповеди Франкенштейна. Вняв своему умирающему другу, предостерегшему его от чрезмерного честолюбия, он поворачивает свой корабль домой — к зеленым лугам Англии и, возможно, снова к поэзии. Такой концовкой Мэри Шелли как бы хочет сказать, что то, что может казаться уместным в поэзии, в сфере практической деятельности недопустимо.

2. КАРЛ МАРКС КАК ПОЭТ-РОМАНТИК

*«Меня объявши, бессловесно
да сгинет мир...»*

В то время как роман Мэри Шелли делал по Европе свои первые триумфальные шаги, там жил еще один

разочарованный поэт-романтик, страдавший от безответной любви к музе поэзии. Подобно Уолтону, он тоже решил компенсировать свои неудачи на ниве поэзии бурной практической деятельностью. Имя ему — Карл Маркс и родился он в том же самом 1818 году, когда Мэри Шелли выпустила в свет свой роман-предостережение. Однако в отличие от своего английского собрата, немецкий вития не внял ее предостережению. За три года до её смерти, в 1851 году Карл Маркс сам вышел на политическую арену богоборчества и провозгласил себя штурманом человечества. Выпустив в 1848 году свой «Коммунистический Манифест», он объявил его не только штурманской картой для выхода из «нашего мрачного мира», но и планом создания земного рая — не без помощи и «прометеевского огня» революций. Так начался проект — ничуть не менее выпендренный и фантастичный, чем проект Франкенштейна. В настоящее время, увы, в него втянуто уже всё человечество. Корни этого проекта надо искать в личности молодого поэта, в том, как она сформировалась в духовном климате посленаполеоновской Европы.

В последнее время стало модно, особенно среди поклонников Маркса, делать упор на его ранние, якобы более гуманистические, писания, начиная с его докторской диссертации 1841 года. Соглашаясь с Аристотелем, что для того, чтобы понять вещь, надо понять ее происхождение, не могу не приветствовать этой модной тенденции. Но не сделать ли нам еще несколько шагов назад и начать анализ марксизма с изучения личности Маркса до того, как она проявила себя в диссертации по философии и, конечно, до превращения ее в догматы его доктрины? Правда, сведения о детстве Маркса довольно скудны, и большинство из них подлежит изучению психологов. Но сохранились некоторые факты, которые, пожалуй, небезынтересны и для нас. Нельзя обойти стороной, например, сообще-

ние его дочери Элеоноры Эвелинг, записанное со слов ее теток, младших сестер Карла. Согласно ему, Карл любил разыгрывать роль тирана, запрягая своих сестер в «конную упряжку» или заставляя их есть стряпню, приготовленную его грязными руками из грязного теста. Любопытно, что сестры поддавались на такое обращение, так как тиран возмещал их муки «чудесными сказками»⁵. Не есть ли детская игра некий символ нынешнего положения дел, когда целые страны насильно запрягаются в упряжку коммунистических тиранов, насильно кормятся стряпней из учения Маркса и назойливо убаюкиваются «чудесными сказками» об утопическом завтра?

Тем более нельзя не обратить внимания на собственные сочинения Карла, вышедшие из-под его пера еще до докторской диссертации, именно — на его выпускные гимназические сочинения 1835 года и стихи университетских лет: с 1835 по 1841 гг.

Его выпускные сочинения отмечены патетическим радением по отношению к христианству (Карл Маркс крестился вместе со своей семьей). В одном из них семнадцатилетний Карл силится раскрыть миру «смысл, сущность, необходимость и следствия единения верующих во Христе», согласно св. Иоанну (15:1-14). Указав, что любой эпикуреец тщетно ищет счастья, потому что истинная благодать «открывается только тому, кто с детской доверчивостью предал себя полностью Христу и через Него Богу», он приходит к выводу, что сама «история человечества учит нас необходимости союза с Христом»⁶. В сочинении о выборе жизненного призвания мысли Карла опять-таки обращены к Иисусу Христу как идеалу самопожертвования на благо людей. Установив, что «сама религия учит нас, что Тот Идеал, к которому мы все стремимся, пожертвовал Собой ради человечества», он вопрошает с риторическим пафосом: «Так кто же дерзнет опровергнуть правоту этого утверждения?»⁷

Недолго же пришлось нам ждать, прежде чем он сам дерзнул. По свидетельству современников, к концу университетского образования двадцатитрехлетний Карл превратил «атеизм в свой лозунг» и зачислил христианство в число «наиболее безнравственных» религий⁸.

Отступничество Маркса от Бога-Отца и Христа началось, однако, не с углубления в гегелевскую диалектику или в социализм Сен-Симона. Оно началось гораздо раньше — с увлечения стихами поэтов-романтиков. После поступления в Боннский университет в 1835 году молодой Карл уделяет гораздо больше времени писанию стихов, чем изучению юриспруденции. К пущей досаде своего отца-адвоката, писание стихов дополнялось «буйным дебоширством» сына, ведшего себя, как типичный немецкий бурш. Некоторое время Карл серьезно рассчитывал на карьеру поэта; отец, не желая видеть сына посредственным поэтом, всё-таки вóвремя отговорил его. Но и после перевода в Берлинский университет, где Карл прекратил свое «буйство» и рьяно принялся за философию, он продолжал предаваться музе поэзии. Среди его кумиров были Гейне, Гёте, Шиллер, Байрон и Шелли. Его собственная продукция была подражательной, в ней ясно ощущались байронические, фаустовские и прометеевские мотивы романтического толка. Но влечение его к этим мотивам было слишком обостренным, чтоб объяснять его просто данью времени или уступкой модным вкусам.

Как и Франкенштейна, Маркса больше всего вдохновляло богоборческое прометейство. Через всю жизнь пронес он в своем боевом арсенале политической полемики образ Прометея. Мятежный титан был его любимым героем, и с ним он отождествлял себя наиболее охотно. Неслучайно поэтому поклонники Маркса любят изображать его современным Прометеем, отказавшимся от своего буржуазного происхождения

и от многообещающей карьеры, жившим в бедности и унижении, страдавшим от хищных коршунов в обликах ростовщиков и домовладельцев, постоянно клевавших его печень. И все эти страдания принимались им с единственной целью облагодетельствовать пострадавшее человечество даром огня его революционных идей о построении земного рая наперекор зловредным богам. Иными словами, приверженцы Маркса хотят дать нам понять, что главное вдохновение автор «Коммунистического Манифеста» черпал из мифа об альтруистическом, человеколюбивом и бескорыстном Прометее Огненосце⁹.

Однако стихи, вышедшие из-под пера Маркса в то время, когда он еще чувствовал в себе призвание поэта, свидетельствуют об ином источнике вдохновения. Вот стихотворение, написанное в 1837 году — в год смерти Пушкина! — в самый разгар его поэтических амбиций.

С презреньем я брошу перчатку
В лицо всему мирозданию,
И паденье пигмея-гиганта
Не умерит моего рвення.

Победно и богоподобно
Я пройду по руинам мира.
Подкрепив свое слово делом,
Почувствую себя равным Творцу¹⁰.

Хотя имени Прометея в стихотворении не упоминается, оно дышит именно богоборческим пафосом титана, но не человеколюбивого, бескорыстного, жертвующего собой Прометея Огненосца, а богоненавидящего, властолюбивого и влюбленного в себя Прометея Демиурга, творца-глиномаза, укравшего огонь у богов, чтобы в нем обжечь свою гончарную стряпню в «новую человеческую породу». Ясно, что это тот же самый источник, из которого черпал свое вдохновение Франкенштейн в попытке превзойти Творца. Хотя с

первого взгляда стихотворение может показаться подражанием шиллеровской перчатке, на поверку оказывается, что оно дышит не столько социальным пафосом, сколько мегаломанией «богоравного» поэта. Под «пигмеем-гигантом», очевидно, подразумевается Бог, и вызов бросается Ему, и исходит он от лирического героя в первом лице. Герой этот задирист, жесток и безжалостен. Как проясняется в последней строке, настоящая цель его вызова — не освобождение от угнетателя, даже не месть «пигмею-гиганту», а убажение мегаломанического желания почувствовать «себя равным Творцу». Пусть для этого ему придется пройти по руинам мира: ведь созерцание руин как раз и обеспечит полноту удовлетворения.

Спустя десять лет поэт-романтик в самом деле выступил в роли политического Франкенштейна и сделал попытку не только приравнять себя к Творцу, но и превзойти Его. В «Коммунистическом Манифесте» он призвал к созданию нового человечества на руинах старого мира и потом не замедлил подкрепить свое слово делом.

Другой пример богоборческого прометейства Маркса виден в его неоконченной романтической драме «Оуланем», написанной в том же 1837 году. Главный герой пьесы представлен читателю как немецкий путешественник. Однако его странное и совершенно не немецкое имя Оуланем приобретает смысл лишь в том случае, если читать его как анаграмму от Мануэло, то есть Еммануил, «что значит с нами Бог» (Матф. 1:23, Исайя 7:14). Анаграмма была, по-видимому, задумана Марксом с целью скрыть или мистифицировать характерное имя героя, выступающего от первого лица. Но можно и допустить, что Маркс умышленно исковеркал имя Бога, чтобы придать Ему нечто «новаторское» по сравнению с традиционным образом. И в самом деле, в единственном монологе героя

в пьесе тот изображает себя новым богом, намеренным во что бы то ни стало разрушить мир:

Мир, что громоздится меж мной и пропастью,
 В силу моих проклятий на века пусть обратится в прах.
 Его суровую реальность сожму в своих руках:
 Меня ж объявши, бессловесно да сгинет мир,
 Потом потонет в бездонной пустоте,
 Вконец погибнет — лишь тогда наступит

жизнь!¹¹

Как и в стихотворении, в пьесе выступает лирический герой, с которым автор себя, вероятно, отождествляет. Это жестокий, безжалостный и ненавидящий Бога бог. Грандиозный в своей страстной, непримиримой ненависти к Богу, он мелок в злорадном желании вовлечь в свои разрушительные козни весь мир. Хотя причины его конфликта с существующим миропорядком прямо не указаны, общественная солидарность и человеколюбие совершенно отсутствуют в поэзии будущего основоположника коммунизма. Приходится также предположить, что его ненависть к Богу онтологична, присуща ему самым коренным образом и распространяется на все Божье творение. Как и герой марксовой «перчатки», Оуланем — прометеец лишь в том узком смысле, что его богоборчество воодушевлено безграничной ненавистью к богам, а не любовью к людям, не говоря уж о желании пострадать для их блага. По контрасту с поразительно низким количеством очков, набранных Марксом в качестве научного предсказателя общественных прогнозов, Маркс-поэт имеет немало шансов оказаться правым — самым роковым образом — в своем пророчестве: «Меня ж объявши, бессловесно да сгинет мир...» Прозорливость поэта едва ли пострадает при этом из-за фразы «лишь тогда наступит жизнь!» Не с нее ли началось то, что Орвелл назвал позднее «новоязыком»?

Так как Маркс не удосужился закончить свою драму, можно лишь догадываться, развил ли бы он

своего Оуланема до масштаба Прометея Глиномаза, творящего новый мир, скажем, из той же бездонной пустоты. Такое развитие характера позволило бы ему предвосхитить в поэтическом творчестве творчество политическое. Но весьма вероятно, что основоположник коммунизма наиболее полно отождествлял себя с Оуланемом не только в онтологической ненависти к миру и к Богу, но и в его разрушительной одержимости. В своей книге «Неизвестный Карл Маркс» Роберт Пэйн справедливо заметил насчет Оуланема:

«В Коммунистическом Манифесте слышен тот же самый резкий голос, призывающий к смертельной схватке между пролетариатом и буржуазией, к безжалостной войне без уступок и компромиссов».

Пэйн пришел к выводу, что «Марксова философия классовой борьбы уходит своими корнями в романтическую драму»¹². Если это заключение уточнить, то оно означает, что вся коммунистическая доктрина не имеет ничего общего с познанием Марксом законов общественного развития или с его сочувствием к тяжелой доле современного ему пролетариата, а представляет собой романтическую химеру его собственной мегаломании, химеру, выросшую на дрожжах богоборчества в романтическом духовном климате Запада первой половины прошлого века.

Годы наиболее неистового увлечения Маркса романтической поэзией (1835—1837 гг.) были также годами его «буйного дебоширства», что вызывало постоянные трения между ним и его отцом, ожидавшим от него более приличного поведения и углубления в науки. Эти же годы оказались решающими в становлении личности «крестного отца» коммунизма; в течение этого времени произошел наиболее резкий поворот в его отношении к окружающему миру: он отверг идеал жертвенного служения человечеству, к которому его вдохновлял раньше образ Христа и который он

так красноречиво провозгласил *своим* по окончании гимназии. В книге «Маркс до марксизма» Дэвид Мак-Леллан так комментирует это событие:

«Мысль о служении человечеству больше не вдохновляла его, и он перестал искать себе то место в жизни, которое позволило бы ему жертвовать собой во имя этого благородного идеала: наоборот, его стихи 1837 года воспевают культ одинокого гения и отмечены внутренней сосредоточенностью на своей собственной личности в полном отрыве от остального человечества»¹³.

Поскольку стихотворство не принесло юному гению успеха, на который он рассчитывал, тем более рьяно взялся он за изучение философии. В 1841 году его занятия увенчались докторской диссертацией «Различие между философиями природы у Демокрита и Эпикура». Однако богоборческое прометейство Маркса-поэта отнюдь не улетучилось с его музой, но преобразовалось в сознательную и отчетливую философскую концепцию. Тема диссертации дает понять, хотя и косвенно, что молодой философ чувствовал внутреннюю потребность в философском оправдании своего христоотступничества. В своем выпускном гимназическом сочинении он некогда доказывал, что философия Эпикура бесконечно ниже религии Христа. Теперь же он посвящает свою диссертацию похвалам не кому иному как Эпикуру. Он особенно восторгается древним философом материализма за введение философии, наиболее импонирующей ему:

Провозглашение Прометея — «Словом, я ненавижу всех богов!» — «является ее (этой философии. — В. К.) собственным признанием, ее лозунгом в борьбе против всех небесных и земных богов, которые не признают самосознания человека верховным божеством, кроме которого не должно быть никаких иных»¹⁴.

Романтический полет этих дифирамбов не должен скрыть от читателя его практического смысла. Как

раньше в поэзии, так и теперь в своей философской продукции Маркс явно отождествляет себя не с человеколюбием титана, а с его богоненавистничеством. Как бы желая перещегоолять своего героя, Маркс распространяет свою ненависть на «всех небесных и земных богов», очевидно намекая не только на «небесных» богов существующих религий, но и на «земных богов» секулярной философской и общественной мысли.

Среди «небесных богов» он, вероятно, метит прежде всего в Христа, бывшего в его глазах главным богом существующего строя. Христоотступничество Маркса не было просто уходом в атеизм, т. е. в *безбожие*, а переходом в деятельный *антитеизм*, в *противобожие*, вдохновенное, несомненно, его страстной ненавистью к Тому, Кому он раньше признавался в любви и преданности. Дело в том, что именно христианский Бог стоял поперек его пути к претворению его собственной мессианской мечты, несомненно подстегнутой его острым осознанием того факта, что он, как и Иисус Христос, происходит из еврейского народа. Если весь языческий мир преклонился перед евреем из Назарета, думал юный любитель диалектических превратностей истории, почему бы современному человечеству не преклониться перед евреем из Трира? Разве Наполеон и Французская революция не показали, что для сильной воли нет ничего недостижимого? Или что в суматохе всеобщего богоборчества всё позволено? Но и о возврате в лоно религии своих предков он тоже вряд ли мог помышлять, ибо такой возврат никак не совмещался бы с его верой в поступательный прогресс человечества и означал бы для него замену «холопства» под старым Богом на рабство под еще более Ветхим.

Итак, ни бурная энергия юноши, ни его заслуженная гордость своими обширными познаниями в секулярной науке Запада не позволяли ему прими-

риться с подчинением высшим авторитетам. Но где же найти выход для его незаурядной энергии, раз уж ярмо «устаревших» богов решительно сброшено? Маркс вскоре нашел этот выход в задаче разгрома и покорения всех модных «земных богов» секулярного Запада, включая Гегеля, Фейербаха, Сен-Симона, Прудона, Бакунина и особенно своих товарищей-коммунистов, которых некогда бывший ему другом поэт Гейне назвал «толпой безбожных богов-самозванцев»¹⁵.

3. КОТОРЫЙ ПРОМЕТЕЙ?

*«Так взгляни же ты на чудовище,
стоящее у самого твоего ложа».*

Как известно, по окончании своей диссертации Маркс намеревался сделать карьеру университетского профессора. Преуспей он в своих намерениях, он получил бы почти неограниченную возможность доказывать своим студентам, что «самосознание человека» тождественно его собственному — Маркса — самосознанию. В таком случае вся его прометеевская мощь иссякла бы, наверно, в интеллектуальном нарциссовском самолюбовании, а в мире было бы гораздо меньше смуты. Однако его план заполучить место в Боннском университете через приятеля по безбожию Бруно Бауэра провалился, и наш «философ самосознания» предался вместо этого журналистике.

Это поле деятельности обернулось для Маркса настоящим кладом. Во-первых, он быстро оценил тот факт, что журналист работает с более широкой, чем профессор, аудиторией для пропаганды своих идей. Во-вторых, журналистская обращенность к массам помогла ему осознать, что для победы над ненавистными ему богами он нуждается в союзниках, и что его

потенциальные союзники — это не титаны ума и не боги самозванства, а простые люди, несшие на себе главное бремя Промышленной революции. Иными словами, поэт-романтик превращается теперь в демагога-журналиста, хорошо знающего, что ненавидящий богов Прометей Демиург нуждается в маске человеколюбивого Прометея Огненосца.

Будучи одним поколением моложе Франкенштейна, Маркс рос в ином политическом климате. Его старший современник созрел в годы политической реакции против всего, что напоминало о Наполеоне и Французской революции. В этой атмосфере Франкенштейн был вынужден искать выхода своему богоборческому импульсу не в сфере государственной или политической деятельности, а в естественных науках. Юность же Маркса совпала с периодом быстрой активизации всякого рода радикальных политических течений, включая социализм, вследствие успеха революции 1830 года во Франции. Неудивительно поэтому, что его богоборческий порыв пошел не на оживление отдельных трупов посредством естественных наук, а на создание нового человеческого общества с помощью наук политических и действий практических.

На арену политической борьбы Маркс вышел именно во время бурного роста (вследствие Промышленной революции) новой общественной силы — индустриальных рабочих. Их-то он и не преминул оседлать и запрячь в качестве своей лошади, которая вытянула бы его на Олимп. Воспользовавшись их справедливим стремлением к более равномерному распределению благ Промышленной революции, он предстал перед ними в виде современного Прометея Огненосца. Обещая им дар огня, он знал, что не он для них, а они для него будут таскать у богов огонь своими заскорузлыми руками. И нужен ему был не живительный огонь домашнего очага, тепла и света, а

огонь для уничтожения старого мира да для обжига новой людской породы по его собственному гончарному пошибу.

Он вóвремя сообразил, что было бы глупо открыто объявить себя новым богом или хотя бы его пророком. Неудача сподвижников социалистического пророка Сен-Симона подсказала ему, что современный секулярный ум нуждается в совершенно ином искушении. Поэтому он взял из учения Сен-Симона одно «рациональное зерно», именно — его наукообразность, идею распространения непогрешимых и универсальных механических законов эпохи «Просвещения» на сферу человеческой деятельности. Как ученики Сен-Симона провозглашали в 1829 году:

«Новая наука, самая положительная из всех, заслуживающих это название, создана Сен-Симоном: это наука о человечестве, и ее метод тот же, что в астрономии и физике»¹⁶.

Отбросив «шелуху» христианской этики из доктрины Сен-Симона, Маркс решил вывести свое новое коммунистическое человечество именно из наукообразного «зерна» этой доктрины.

Подобно Франкенштейну, соединившему в своих потугах старую химеру алхимиков с новейшими достижениями в области электричества и гальванизма, Маркс «синтезировал» в своей доктрине романтический порыв к всемогуществу с идеей «просветителей» о непогрешимости и абсолютности научного знания. Результатом этого «синтеза» оказался план разрушения старого человечества и создания нового, план, нашедший свое наиболее лаконичное и красноречивое выражение в «Коммунистическом Манифесте» 1848 года. С него-то и заварилась каша научной фантастики, которую человечество расхлебывает и сейчас. Манифест этот до сих пор для коммунистов — программа действий. Недаром советские руководители неустанно твердят о создании «нового советского чело-

века», как если б он не был больше «гомо сапиенс», а «гомо советикус».

Помимо богоборческого прометейства и желания поставить науку себе на службу, роднят Маркса с Франкенштейном и другие черты. Оба воспитывались в семьях, где влияние эпохи «Просвещения» было исключительно сильным. Оба отличались космополитством: Франкенштейн в силу своего швейцарского происхождения, Маркс как крещеный еврей. Выросшие в самой сердцевине западной цивилизации, они и действовали почти в одном и том же районе: на Рейне, во Франции и в Англии. Пройдя суровую школу немецкого образования, оба оставались прежде всего европейцами. Оба не только были щедро наделены талантами и способностями, но и умели воспользоваться ими для своих целей. Важнее всего, пожалуй, то, что рвение к цели в обоих случаях привело к их отчуждению от своих семей и подчас граничило с болезненной одержимостью. Франкенштейн признается, что он работал как бы в «трансе», не замечал «очарования природы» и в конце концов «потерял душу и вкус ко всему, кроме единственной цели»¹⁷. А отец Карла не переставал жаловаться на «глупое блуждание (сына. — В. К) по всем отраслям знаний, глупое тяжкодумие при свете ночников». До самой своей смерти в 1838 году он не мог примириться с образом жизни сына и не мог принять его «захирение в академическом балахоне со взломаченной шевелюрой» за перемену к лучшему по сравнению с его предшествующим «захирением за кружкой пива»¹⁸.

Но кое в чем Маркс сильно отличался от Франкенштейна.

Одно из отличий состояло в том, что хотя оба разделяли богоборческий импульс Прометея Демиурга, Маркс гораздо более был движим ненавистью к Богу и Его творению. Поэтому он больше заслуживает сравнения с падшим ангелом, тем более, что раньше

он клялся в верности Христу. Франкенштейн же скорее похож на Адама, не удержавшегося от соблазна познания.

Онтологическая ненависть Маркса к миру делала его особенно безжалостным и жестоким. В то время как творческий проект Франкенштейна не предусматривал предварительного убийства ради добычи трупов для научного эксперимента, Маркс не только включил в свой план преднамеренное убийство, но и обосновал его «научную» необходимость.

С другой стороны, Маркс совершил грубую научную ошибку, которой Франкенштейну удалось избежать. Начиная свой научный эксперимент по созданию нового общества, Маркс забыл, что это именно эксперимент и что как таковой он должен быть обусловлен тем, что экспериментатор имеет возможность прекратить его в любой миг по своему желанию. Видимо, научная гордыня заставила нашего всезнайку забыть об этом непреложном правиле науки.

Наконец, хотя оба наших героя чрезвычайно преуспели в своих амбициях, успех Маркса оказался лишь посмертным. Правда, история приписала успех именно ему, да и революционеры никогда не отрицали, что они старались претворить в жизнь именно его план. Я употребил здесь выражение «претворить в жизнь» как идиому, по привычке, а ведь более уместно было бы сказать «претворить в смерть». Как бы то ни было, наследники Маркса, казалось бы, выполнили обе задачи его проекта:

1) умертвив «старую» Россию, они обеспечили себя трупом для дальнейшего эксперимента, и — что гораздо труднее —

2) в ходе эксперимента им удалось оживить этот труп в чудовище гигантских размеров.

Поскольку только это второе достижение достойно подвига Франкенштейна, о нем следовало бы поговорить подробней.

Прежде всего, каким бы гигантским и фантастическим оно ни казалось, достижение это так же сомнительно, как «виктория» Франкенштейна. Вспомним, что при первом же взгляде на свое творение, Франкенштейн в ужасе бросился от него бежать:

«...ибо чрезмерно ужасающим будет эффект любой человеческой попытки имитировать изумительный механизм Творца мироздания. Его успех испугает автора. Пораженный страхом, помчится он наутек от своей гнусной стряпни. И будет надеяться, что малая искорка жизни, некогда раздутая им, потухнет сама собой, и человекоподобный урод рассыплется в прах...»¹⁹.

Доживи Маркс до того дня, когда его теория была претворена в практику в России, он по всей вероятности так же пустился бы наутек, как и Франкенштейн, да как и многие из его последователей, помогавших ранее создать чудовище коммунистической России. Бежали эти его наследники, конечно, не только от страха, но и от своей ответственности. На этом их сходство с Франкенштейном, увы, кончается.

После того как чудовище внесло смерть в его собственную семью, Франкенштейн пришел в себя и смело принял ответственность за дело своих рук, точнее, за отродье своего ума. Наследники же «гуманного» Маркса (в массе своей) не имели мужества признать свое участие в создании чудовища и принять на себя долю ответственности за его преступления, даже когда сталинские чистки густо прошли по рядам их сестер и братьев русской и других национальностей.

Даже и по сей день далеко не один марксист на Западе тщится надеждой, что раздутая им искорка потухнет «сама собой» и что если чудовище само по себе не рассыплется в прах, то обязательно облагородится. И все-таки существование чудовища тайно берedit его душу. Он слишком умен и честен, чтоб не отдавать себе отчета в его чудовищной действительности.

Но перед лицом ее он постоянно пасует, чувствуя свою немощь и безволие. И потому предпочитает оставаться как бы в летаргическом сне. Не о нем ли предвещала Мэри Шелли:

«Он старается заснуть в надежде, что безмолвие могилы навек поглотит память о преходящем существовании этого отвратительного трупа, на который он некогда взирал как на колыбель жизни. Он спит. Но вот уж и открывает, проснувшись, свои глаза. Так взгляни же ты на это чудовище, стоящее у самого твоего ложа, раздвигающее твой занавес, и понижывающее тебя своими желтоватыми, водянистыми, теоретическими глазами»²⁰.

Разве не возмущались многие марксисты на Западе ленинской расправой с меньшевиками и другими марксистами? Разве не пронеслось по Европе эхо душераздирающих криков сталинских чисток тридцатых годов? Кто забыл о «заговоре врачей-сионистов»? Кто не дрожал под холодным душем советских интервенций в Германии в 1953 г., в Венгрии — в 1956, в Чехословакии — в 1968? Не трепещем ли мы и сейчас при первом скрежете Железного занавеса? Или Солженицын не прогремел по миру своей правдой? Так взгляни же ты на это чудовище, стоящее на пороге твоих покоев в Италии, Португалии, Испании и нагло разгуливающее повсеместно!

Я знаю, что у тебя всегда есть в припасе оправдание в пользу Маркса и его «истинных последователей». Ты или валишь всю вину на «русских азиатов», на Ленина, с его большевиками, за порочное применение непорочной теории западного гения. Или, закрыв глаза на преступления Ленина, ты винишь восточного деспота Сталина за «уклон» от ленинизма и за натравливание чудовища на самих коммунистов. Но в самом Марксе и в его доктрине ты не находишь ничего нравственно предосудительного.

Я совсем не склонен отрицать, что Ленин «уклонился» от Маркса, а Сталин «уклонился» от Ленина.

И тем не менее факт остается фактом: никто на Западе не показал нам, как теория Маркса может быть применена на практике лучше, чем в СССР. Поэтому ответственность за умерщвление «старой» России и за «оживление» ее трупа в нынешнее чудовище ложится своим бременем не только на тех, кто собственно-ручно совершил это преступление, но и на автора убийственного плана и на его поклонников на Западе. Увы, западные марксисты — за исключением тех, кто всё еще ратует за коммунизм «с человеческим лицом» — до сих пор тужатся доказать свою верность учителю тем, что обманывают и утешают себя и других надеждой на «неизбежную гуманизацию» чудовища.

Легко поддаваясь на пропагандные сказки краснобайствующего урода, они распространяют эту ложь вокруг себя и заражают ею даже немарксистские партии и правительства Запада. Из смеси страха, лжи и «родительской» симпатии к этому выродку на Западе даже возникла модная идея, что чудовищный урод превратится во вполне порядочного джентльмена, как только ему будет предоставлено жизненное пространство, подобающее его гигантскому росту и аппетиту. К этой идее добавляется другая: дескать, урод может казаться таковым только нам, цивилизованным и демократичным белым людям Запада, но предстает неотразимо привлекательным красавцем в глазах всех этих русских, китайцев, вьетнамцев, кубинцев, ангольцев и вообще всех варварских и недоразвитых народов. Исходя из этих двух идей, а также в надежде ублажить урода, западные державы делают ему щедрые уступки одну за другой. Но при этом они забывают одну вещь: а именно, что не только генеалогия коммунизма подобна происхождению франкенштейновского чудовища, но также и его поведение и проблемы. А ведь проблемы-то его более чем серьезны...

4. ЗАПОЛУЧИТЬ БЫ ЖЕНУ

*«Не возьму любовью, так
возьму страхом»...*

Вспомним, что франкенштейновский урод был гигантом, превосходящим всех людей физической силой и выносливостью, и мог обойтись без многих удобств, нужных людям. Кроме того, с момента своего создания он отличался доброжелательностью и благими намерениями. И тем не менее он оказался крайне несчастным и бесконечно жалким созданием: одиноким, безобразным и нелюбимым. Наибольшую горечь и ожесточенность вызывал в нем именно тот факт, что его никто не любил, да и не мог полюбить. По его признанию, из-за этого он и стал «ворогом». «Не возьму любовью, — поклялся он, — так возьму страхом»²¹. После того как он в самом деле загубил несколько невинных душ, люди еще больше стали бояться и избегать его. В том-то и состоит его трагедия, что сколько бы людей он ни убивал, дорога к счастью и удовлетворенности в людском обществе ему заказана. Его личная проблема усугубляется тем, что сам он никогда не сможет найти выхода из своего плачевного положения. В решении этой проблемы он целиком и полностью зависит от своего создателя.

Чередую угрозы с попытками вызвать в своем создателе «родительские» чувства вины и жалости, урод наконец добивается от Франкенштейна обещания создать ему жену по его подобию. Франкенштейн настаивает при этом на одном условии: урод и его жена должны будут навсегда «покинуть Европу». Хотя он тут же спохватывается и добавляет: «и все другие места по соседству с людьми»²². Уговор обусловливает, что уродам будет позволено жить в таких малонаселенных местах, как «обширные просторы Южной Америки», которые урод сам называет, и Россия. Сце-

ной этой сделки Мэри Шелли как бы указала на то, что Франкенштейны западной науки не склонны особенно щепетильничать в выборе места для свалки своих побочных продуктов, лишь бы только не помещать их по соседству с миром Запада.

Возвращаясь к марксову ублюдку, повторим, что у него есть свои проблемы, и по своему характеру эти проблемы весьма сходны с проблемами франкенштейновского уroda. Он ведь тоже гигант, превосходящий все другие страны во многих отношениях. Он тоже обходится без многих удобств, отсутствие которых немислимо для других. Его физической мощи позавидовал бы даже его литературный предшественник. С момента своего появления на свет в 1917 году коммунистический гигант неуклонно расширял свою власть над людьми. В настоящее время он господствует уже над третью человечества, вселяя страх и ужас в остальные две трети. Но — увы — он всё-таки не менее жалок и несчастен, чем чудовище Франкенштейна. И корень его несчастья тот же самый: его никто нигде никогда не любил, не любит и не будет любить. Это значит, что дорога к естественному продолжению его рода ему заказана. Возможно, с самого начала он не был лишен добрых чувств и намерений по отношению к людям. Но не найдя отклика в людских сердцах, он ожесточился, как и урод Франкенштейна. Он забыл, что любовь должна быть взаимной. И потому люто ненавидит он тех, кто, как поэт Пастернак, напоминает ему о старинной русской поговорке: «Насильно мил не будешь». Особенно бесит его то, что он более всего нелюбим в своих собственных владениях — ведь там-то его видели и без масок!

Но, потеряв надежду на семейное счастье у себя дома, он в последнее время шибко загорелся страстью заключить если не брак любви, то брак удобства за границей. Брак этот нужен ему не только, чтоб узаконить свое гражданское состояние, но чтобы и про-

должить и размножить свой род. Бахвалясь своей физической силой и быстротой натиска, он метит всё выше и выше. Он набивает себе цену, сватаясь одновременно ко многим. Но он решительно предпочитает невест с Запада. Особо зарясь на римскую мадонну, он лелеет надежду, что брак в самой цитадели западной цивилизации наконец-то прикроет его происхождение из реторты западной науки. Ради этой цели он более чем когда-либо готов и попотеть под масками народных фронтов и демократических коалиций, лишь бы только народ сам выбрал его в законные женихи. Заядлый атеист, он, кажется, даже не прочь обвенчаться, как некогда Наполеон, с благословения папы римского. И уж, конечно, он рассчитывает в своей затее на услуги тех людей на Западе, которые некогда помогли создать его и поставить на ноги: не их ли, мол, это родительский долг — заполучить для своего отпрыска жену ладную и ему под стать?

Мэри Шелли поведала нам, что в последнюю минуту Франкенштейн нарушил свой уговор с уродом и разрушил полуготовую «жену». Он отказался от выполнения своего «родительского» долга по отношению к своему «научному» отпрыску, чтобы исполнить свой сыновний долг по отношению к человечеству.

«Его охватила дрожь, когда он подумал, что будущие поколения проклянут его как изверга, чье себялюбие не постеснялось купить себе личное благополучие ценой существования всего человечества»²³.

Он осознал также, что даже если новоиспеченные супруги соблюдут условия их уговора,

«...даже если они в самом деле покинут Европу и поселятся в диких местах Нового Света, первым результатом вожделений демонического уroda будут дети, и дьявольская его раса распространится по всей земле, так что само существование человека будет поставлено под страшную угрозу»²⁴.

Поскольку «родителя» коммунизма нет теперь в живых, главное бремя ответственности за брак его чудовищного выродка с западной «женой» лежит теперь именно на тех его поклонниках на Западе, которые считают себя подлинными наследниками «гуманного и человеческого» Маркса. Они должны решить, какому долгу отдать предпочтение — «родительскому» по отношению к коммунизму или сыновнему по отношению к человечеству. Мы еще увидим, верность чему возьмет верх в их решении: верность их учителю (и тогда они непременно пойдут путем Франкенштейна и расторгнут свой постыдный сговор с коммунизмом) или верность коммунистическому чудовищу, существующему вопреки воле его создателя. Найдут ли они в себе мужество, подобное франкенштейновскому, пресечь эксперимент, так неосторожно подготовленный Марксом, или поддадутся на «демократические» посулы чудовища?

Вопрос этот имеет, однако, смысл лишь в том случае, если пророчество Оуланема «Меня ж объявши, бессловесно да сгинет мир!» не было изъяснением воли самого Маркса. Если же было, ни один марксист не сможет упрекнуть автора этой статьи за сравнение их всемогущего учителя с Франкенштейном, ибо такое сравнение делает честь отнюдь не последнему. Разумеется, тогда автору этой статьи пришлось бы с досадой убедиться, что его гипотеза о происхождении Маркса из благородного европейского рода фон Франкенштейнов, и следовательно, генеалогия его коммунизма лишается одного из самых важных аргументов.

5. ЗАВЕЩАНИЕ ФРАНКЕНШТЕЙНА

«...Вскоре он был унесен на гребне волн и исчез во тьме тумана и в отдалении».

В мифе о Франкенштейне Мэри Шелли преподавала нам также урок, как *не должно* обращаться с отпрысками, порожденными нашим умом. Мы узнаем, что чудовище отомстило своему создателю за отказ снабдить его женой, лишив его не только его лучшего друга, но и его собственной невесты. В припадке горя Франкенштейн решает с этого момента посвятить себя до конца своих дней задаче уничтожения своего отпрыска. Как сказочный богатырь, он пускается в поиски чудовища. Из сердца Европы гонит он своего «ворога» — через Средиземноморье — к берегам Черного моря. Должны ли мы усмотреть в этом пророческий дар Мэри или таинственную случайность истории, но почему-то враг Франкенштейна выбирает свое убежище не в какой-либо другой стране, а именно в России. Повествуя Уолтону о своих приключениях, Франкенштейн говорит:

«По диким местам Татарии и России я неотступно следовал за ним, несмотря на все его попытки увильнуть»²⁵.

Однажды местные крестьяне — не наши ли колхозники? — сообщают Франкенштейну, что «гигантское чудовище, до зубов вооруженное, напало на нас прошлой ночью», и что «напуганные его ужасающей внешностью» крестьяне вынуждены были покинуть свои хижинны. Поскольку чудовище реквизирировало их «продовольственные запасы на зиму», понятно, что крестьяне вызываются помочь Франкенштейну²⁶.

И все-таки, несмотря на их помощь, несмотря на решимость Франкенштейна и настойчивость, ему не удастся разделаться с чудовищем. Заманенный в непривычный для него климат арктического севера, Франкенштейн погибает от физического и нравственного изнурения. И хотя перед смертью он завещает своему другу Уолтону разыскать чудовище «и утолить мою жажду мести его смертью»²⁷, завещание остается невыполненным.

Роман завершается неожиданным финалом. Едва Франкенштейн скончался, как чудовище вдруг само является на борт уолтоновского корабля. К удивлению Уолтона, чудовище не нападает на него и не насмехается над останками своего создателя и преследователя. Оно явилось, чтобы почтить память своего «родителя». Тронутый неподдельным тоном его скорби, Уолтон забывает о предсмертной воле своего друга. Да и нужда в ней вроде бы отпала: несчастный выродок Франкенштейна выражает желание отправиться на «самую северную окраину земного шара» и говорит:

«Я воздвигну себе погребальный костер, чтоб обратить в пепел мою жалкую плоть так, чтоб не оставить ни малейшей догадки тому любопытному, но неосвященному безумцу, который вознамерился бы создать подобное мне обреченное существо»²⁸.

У Мэри Шелли было, однако, достаточно художественного чутья, чтобы не делать читателя свидетелем сцены самосожжения урода. Мы только узнаем, что он спрыгнул с борта корабля на льдину и «вскоре был унесен на гребне волны и исчез во тьме тумана и в отдалении». Так говорится в последней строке, и читатель волен сам решить, покончил ли урод Франкенштейна сам с собой или просто перехитрил Уолтона и, в конечном счете, своего создателя. Последнее весьма вероятно, ввиду того, что Франкенштейн не раз испытал на себе лживость и коварство своего

отпрыска и предупреждал о его способности обманывать других лицедейством и краснобайством.

Как бы то ни было, один факт не подлежит сомнению: как политическая ипостась франкенштейновского «творчества», коммунизм до сих пор остается скрытым «во тьме тумана и в отдалении». И скрыт он как во тьме распускаемого им пропагандного тумана, так и в отдалении, которое западные страны неизменно чувствуют по отношению к России и другим подвластным коммунизму странам, тем более, что до недавнего времени коммунизм в самом деле как бы отдалялся от западной цивилизации, то есть от чрева, которое его извергло. Готовясь возвратиться теперь в Европу бумерангом, он говорит ей: «Если не возьму любовью, так возьму страхом, силой и коварством». Увы, не только его призрак бродит теперь по Европе и по всему миру. Гигантская тень коммунистического чудовища ложится и на могилу его главного создателя на Хайгетском кладбище в Лондоне — и терзает его душу.

Но не терзает ли она и душ живущих? Не задаются ли они, например, таким вопросом: почему Франкенштейн завещал свою предсмертную волю не полицейскому префекту Швейцарии, не правительствам и «магистратам» Европы, и не русским крестьянам, а английскому поэту-романтику? Если б задались, то и ответ явился бы сам собой: потому, что Роберт Уолтон — индивидуалист, искатель и творческая личность. Кем бы он ни был — поэтом или капитаном полярной экспедиции, — он всегда будет неустанно искать «землю, превосходящую красотой и очарованием все другие, уже известные». Он не успокоится, пока не откроет для себя тайны мироздания. Потому что в нем живет Фауст. Потому что он носитель творческого огня Прометея. Богоборец он или нет, он воплощает в себе то творческое начало, которым западная

цивилизация вполне заслуженно гордится. Словом, потому что он духовный собрат Франкенштейна.

Но в таком случае не собрат ли он и Марксу и всем тем, кто отождествляет себя с его творческой энергией, смелым воображением, целеустремленностью и настойчивостью? Хочется верить, что да. Тогда именно на плечи поклонников Маркса ложится главная задача усмирения коммунистического чудовища. Именно они, а не «магистраты» и правительства Запада и не народы под пятой коммунизма, обязаны в первую очередь задуматься о смысле мифа о Франкенштейне. Если они открыто называют себя марксистами, они обязаны пойти путем Франкенштейна и взять на себя ответственность за преступления, совершенные и совершаемые коммунистами. Если ж они предпочитают называть себя иными именами, не должны ли они последовать примеру Уолтона, кому предсмертная воля Франкенштейна была завещана не потому, что он был соучастником его преступления, а потому что был его другом, исповедником и собратом по духу. Но как бы они себя ни называли, они не имеют морального права отказаться от задачи усмирения коммунистического чудовища прежде всего потому, что оно продукт богоборческого направления Запада.

К сожалению, на переднем крае борьбы с чудовищем нелегко найти творческую интеллигенцию Запада. В большинстве своем западные интеллектуалы чаще всего оказываются если не прямыми соучастниками бесчинств, насилий и прочих преступлений этого чудовища, то его подстрекателями, попутчиками и апологетами.

Они не упустят случая подогреть на Западе чувство вины и раскаяния за все неблагоприятные последствия его научно-технологического прогресса. Самозабвенно обвиняют они свои собственные страны в заражении мира продуктами радиоактивного распада, в загрязнении жизненной среды индустриальными отходами.

С фарисейским самодовольством бичуют они «империалистов» за использование слаборазвитых стран в качестве свалки для отбросов их первоклассной индустрии. Но их днем с огнем не сыщешь, когда речь пойдет об очищении мира от главной исходящей от Запада заразы, от его главного побочного продукта. Они забыли о главном продукте распада Запада: об идееубийственной идеологии Марксова коммунизма. Они забыли, как идеи мировой пролетарской революции отвергнутые массовым потребителем на Западе, были брошены на менее взыскательный идейный рынок России по демпинговой цене и как та — увы, из-за своей неумеренной страсти к Западу — поддалась на соблазн, польстилась на штамп «Сделано на Западе», увидела в этих идеях средство «догнать и перегнать» Запад и рьяно погналась за красной тряпкой — себе на горе! Ибо, не полагаясь на свою собственную конкурентоспособность, отверженец Запада хамски захватил полную и беспросветную монополию на русском рынке, грубо вытолкав с него даже такие кондовые исконно русские товары, как Толстой, Достоевский и Соловьев. До чего ж эта монополия всем в России оскомину набила! До чего ж и сам марксизм выварился там в собственном соку!

Адресуя это письмо и завещание Франкенштейна не только России, но и интеллектуалам Запада, я хотел бы подчеркнуть, что проблема коммунизма касается всего мира и потому может быть решена только глобальными усилиями. Я никак не думаю, что западная интеллигенция главным образом несет в себе неиссякаемый творческий потенциал. Но мне кажется, что ни у кого нет такой свободы, таких возможностей сосредоточить творческую энергию в один пучок, как у народов Запада. К тому же именно вне коммунистических стран, со стороны, видна — зрячим — как на ладони вся нелепость международного коммунизма.

Принимая на себя вызов коммунистического чудища, стоило бы усвоить еще один урок, преподнесенный нам в мифе о Франкенштейне девятнадцатилетней героиней девятнадцатого века. Нет, она не дала нам практических советов, как разделаться с чудовищем. Но она намекнула, как следует подойти к этой задаче. Она дала читателю понять, что только под конец Франкенштейн осознал, что как он сотворил своего изверга «в припадке безумного энтузиазма», так он и преследовал его потом из «эгоистических и злобных мотивов» ненависти и мести. Значит, причина его неудачи как преследователя коренится в том же самом, в чем и причина его «научной виктории»: в нравственной слепоте. И уже на смертном одре упрямый Франкенштейн меняет свои суждения и смягчает свою предсмертную волю. Правда, он и теперь настаивает на необходимости разделаться с уродом и повторяет Уолтону свою просьбу «взять на себя» его «неоконченную задачу». Но теперь эта просьба продиктована не слепой ненавистью и не жадой мести, но основана на гранитных устоях «разума и добродетели»²⁹. Поэтому он больше не настаивает на том, чтоб Уолтон «отверг свою страну и друзей ради этой миссии». За этим угадывается осуждение Мэри Шелли тех творческих личностей, кто для достижения цели готов пожертвовать не только и не столько собой, сколько другими, и кто отчуждает себя от человеческой общности.

В применении к коммунизму урок, данный нам Мэри Шелли, означает, что задача преодоления коммунизма должна решаться положительно и творчески, а не отрицательно и разрушительно. Он также означает, что наши творческие усилия хоть и под стать любому титану, но только тогда будут любезны всем на земле и на небе, если они будут строиться на готовности к самопожертвованию. «Что же касается практического применения этих пунктов и равномерного

распределения обязанностей, это я оставляю на совести каждого»³⁰, всего лишь передавая то, что Виктор Франкенштейн завещал своему другу.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно»... Маркс цитирует Данте в следующих заключительных строках своего предисловия к первому изданию «Капитала» в 1867 г.: «Я буду рад всякому указанию научной критики. Что же касается пред-рассудков так называемого общественного мнения, которому я никогда не делал уступок, то моим девизом по-прежнему остаются слова великого флорентинца». См.: Карл Маркс. Капитал: Критика политической экономии. М., Изд-во «Прогресс», 1965.

² Mary W. Shelley, *Frankenstein; or The Modern Prometheus*. Ed. With Intro. by M. K. Joseph, Oxford University Press: London, 1969, p. 54.

³ Там же, введение автора к изданию 1831 г., с. 9.

⁴ Там же, с. 211.

⁵ David McLellan. *Marx Before Marxism*. New York and Evanston: Harper & Row, 1970, p. 32.

⁶ Там же, с. 35.

⁷ Там же, с. 38.

⁸ Там же, с. 69.

⁹ Комментируя заявление Маркса о том, что Прометей — самый благородный святой и мученик среди философов, Франц Меринг говорит, что самому Марксу «было предопределено стать вторым Прометеем, как в борьбе, так и в страданиях». См. Franz Mehring, *Karl Marx: The Story of His Life*, New York: Covici, Friede Publishers, 1936, p. 59.

¹⁰ Там же, сс. 44-45.

¹¹ *The Unknown Karl Marx*. Документы под редакцией и со вступлением Роберта Пейна. New York: New York University Press, 1971, p. 82.

¹² Там же, с. 62.

¹³ McLellan, p. 46.

¹⁴ Там же, с. 59.

¹⁵ Payne, p. 98.

¹⁶ *The Portable Romantic Reader*, ed. by Howard E. Hugo, New York: The Viking Press, 1969, p. 505.

¹⁷ *Frankenstein*, p. 54.

ГРАНИ

¹⁸ John Murray Cuddihy. *The Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss, and the Jewish Struggle with Modernity*. New York: Basic Books, p. 120.

¹⁹ См. прим. 3.

²⁰ См. прим. 19.

²¹ Там же, с. 145.

²² Там же, с. 148.

²³ Там же, с. 166.

²⁴ Там же, с. 165.

²⁵ Там же, с. 203.

²⁶ Там же, с. 206.

²⁷ Там же, с. 208.

²⁸ Там же, с. 222.

²⁹ Там же, с. 217.

³⁰ Там же, с. 217.

КОММУНИЗМ: РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ

(По поводу книг Р. Редлиха)

Никакое ответственное суждение о коммунизме, его теории и практике, его метафизике и аксиологии, как и о социальных механизмах его действия, не может обойтись без изучения двух книг Романа Николаевича Редлиха. Впервые они увидели свет в 1949-52 гг. под названием «Очерки большевизмоведения»*. В начале семидесятых годов вышло новое русское издание в двух томах, носящих название «Сталинщина как духовный феномен» и «Советское общество»**. Эти названия далеко не полностью выражают всё богатство их содержания. Прежде всего, не нужно думать, что эти работы, как может показаться, относят нас к локальным проблемам новейшей России. Это не так. Во-первых, проблемы России не могут быть локальными хотя бы по тому месту, которое она занимает в современном мире. Но главное — феномен, именуемый «русским коммунизмом» (вспомним известную

* Роман Редлих. Сталинщина как духовный феномен. (Очерки большевизмоведения. Книга 1.) Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1971.

** Роман Редлих. Советское общество. (Очерки большевизмоведения. Книга 2.) Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1972.

книгу Бердяева), нельзя сводить исключительно к национальной традиции, и об этом в самом начале своих исследований предупреждает автор. Историки, стоящие на подобной точке зрения, замечает он, некритически абсолютизируют категорию сходства в своих анализах и оценках исторических явлений. Утрачивается сознание нередуцируемой специфичности коммунизма, несводимости его к его «месторазвитию»; история коммунизма в России как раз демонстрирует непрерывную борьбу его с этим «месторазвитием». Коммунизм, явленный в России, не «одна из» его мыслимых моделей, а единственная мыслимая модель — и не из-за однозначности России, а из-за однозначности коммунизма. Как всякая «идея», коммунистическая тоже «вечна», — существует не в историческом, а онтологическом, бытийном плане. Слово «идея» здесь надо брать не в идеологическом, а, как у Платона, бытийном плане; и в этом смысле коммунизм — не идеология, а онтическая структура (точнее — не онтическая, бытийная, но *антибытийная*, как недавно поведал миру И. Р. Шафаревич; мир от этого открытия не шелохнулся — тем хуже для мира). Итак, это один из ноуменальных вариантов человеческого бытия. О «русском коммунизме» можно было еще говорить в 1937 году, когда вышла книга Бердяева, но уж никак не в 1977. И хотя эта идея много древнее сравнительно недавней ее формулы — марксизма, в таковом до конца, бескомпромиссно, с поистине *научной безапелляционностью* выражена главная — и единственная — претензия коммунистического проекта: тоталитаризм, стремление к всеобщей насильственной организации бытия, воля к созданию «закрытой системы» — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эта претензия необыкновенно усиливается и оправдывается марксистским философским монизмом. У первого из известных в Европе коммунистических теоретиков, Платона, его социальный проект был призван, наобо-

рот, к тому, чтобы преодолеть дуализм эмпирического, пещерного бытия и ноуменального мира, он был не фундаментом мировоззрения, а весьма шаткой аксиологической пристройкой; и уже нечего говорить о теоретиках средневековой теократии: оставаясь христианами, они не могли, были не вправе отбросить христианский этический дуализм — Меч Христов, разделивший небо и землю. Но в марксизме монистическая вера — альфа и омега. Книги Редлиха заставляют понять (часто даже в большей степени, чем этого хотелось бы автору), что практика — сталинизм — есть неизбежное следствие теории — марксизма; «онтологический замысел» сталинизма — абсолютное властвование — не мыслим вне его идеологического контекста; ошибка теории провозглашается истиной жизни. Идеократия — вот подлинный «источник коммунизма», — не русского, а всякого.

Поскольку новейший коммунизм не мыслит себя вне «единственно научной» теории — марксизма-ленинизма, постольку он не вправе осознавать и манифестировать себя как альтернативу сталинизма. Этот вывод, неизбежно делаемый читателем книг Редлиха, делает их жгуче актуальными.

Едва ли не наиболее впечатляющее открытие автора в доказательстве того, что марксизм-сталинизм — система пониженного самосознания — не только обман, но и самообман. В лучшем (для носителей этой идеологии) случае — это *тайное знание*, эзотерическая доктрина, владеющие ею — комплот, тайный орден врагов человечества. В худшем (уже для всего человечества) случае — это бессознательное влечение, разрушительный, противожизненный инстинкт. Осознать тайну марксизма и открыто ее формулировать — задача первостепенной важности. Ее исполняет Редлих.

Итак: можно ли говорить о злой воле марксизма? Или все его номера — результат только теоретической

ошибки? Таковая, во всяком случае, несомненна. Отчего, в самом деле, осуществление марксизма позволило так подытожить себя:

«Оно исходит из абсолютизации власти как высшей цели и ценности, которую можно реализовать только путем насилия»¹.

Эта формула раскрывается достаточно просто, даже в чисто логическом плане, не говоря уже об историческом ее самораскрытии. Основная линия движения в марксизме-сталинизме — от теоретической ошибки к моральному грехопадению. Методологически необязательно делать из Карла Маркса исчадие ада, чтобы увидеть предопределенность этого пути. Ни сам Маркс, ни первые марксисты-ленинцы (назовем их, как это уже не раз делалось, большевиками-идеалистами) не ставили своей целью сознательный обман и насилие, наоборот, это были в некотором роде друзья человечества. «Светлая» их цель — коллективный эвдемонизм был лишен разлагающей иронии и скепсиса Великого инквизитора из романа Достоевского, т. е. самосознание как будто отсутствовало. Никогда не лишне — хотя бы для контраста с позднейшими его модификациями — подчеркивать напряженный этицизм, мощный моральный пафос первоначального марксизма. Была сделана *только* теоретическая ошибка: в попытке построения целостного мировоззрения на фундаменте исключительно научного знания. За эту ошибку треть человечества расплачивается до сих пор, России она стоила уже более ста миллионов человеческих жизней.

И все-таки вспоминаются в связи с марксизмом слова Декарта: причина заблуждений — не в разуме, а в воле. Читая современных адептов марксизма, нельзя не думать, что они подпали под гипноз чужой и злой воли, заставляющей их проделывать глупости на глазах у публики.

Для тех на Западе, кто настаивает на своем — на понимании марксизма как синтеза, «который многим кажется самым богатым для сегодняшней мысли и вообще для сегодняшнего человека»², — для тех, видимо, не существует ни доводов разума, ни, самое печальное, чужого опыта. Собственный опыт — в том случае, если в Италии победит коммунизм, — убедит профессора Пачини, что такие, как он, коммунисты-идеалисты — одна из первых жертв реализуемого марксизма. Стоит ли перечислять соответствующие русские имена? Жалко Италию: если таковы в ней профессора, то каковы же прочие? В России сейчас если и не школьнику, то уж по крайней мере студенту второго курса (с которого начинают вколачивать в его бедную голову «единственно верное учение») ясно, что никакого синтеза в марксизме нет, что он построен на грубом и ничем не примиренном противоречии двух сторон: естественнонаучного монизма и некритически к нему приложенного, из иных, ненаучных источников выведенного морализма. Две эти стороны Редлик называет наукообразной и вероподобной. В свое время Владимир Соловьев, имея в виду эти некритические, непродуманные попытки соединить несоединимое — требования морального сознания с научной картиной мира, иронизировал: «Люди произошли от обезьяны, поэтому будем любить друг друга». Неужели итальянским и иным европейским профессорам нужно объяснять, что методология естественных наук не знает отнесения к ценности? и напоминать, что исторический процесс, по Марксу, — это *естественноисторический процесс, детерминированный* законами *материального* производства? Похоже на то, что Дж. Пачини встречал слово «дух» только на вывесках некоего банка.

Задача посложнее квадратуры круга — построить этику на основе учения, один из столпов которого — сам Ленин — охотно солидаризуется с высказыванием

Зомбарта: «В марксизме нет ни грана этики» — и великой заслугой марксизма считает то, что он покончил с болтовней о свободе воли. Ленин, надо думать, Канта не читал, — у него начинались судороги от одного слова «критическая философия», — но современному русскому с трудом верится, что на Западе, стране святых чудес, водятся профессора-гуманитарии, не знающие, что свобода есть постулат нравственности.

Практический этицизм в сочетании с теоретически исповедуемым научным монизмом породили в марксистском учении противоречие детерминизма и волюнтаризма. Первым волюнтаристом в коммунизме был отнюдь не простец Никита Хрущев, а сам Карл Маркс — это он создал систему противоречий, разрешать которые принялся не теоретически (этого сделать нельзя), а практически: не в рамках научной мысли, а на путях социального действия. Способом устранения противоречий в марксизме стала концепция абсолютного властвования.

Концепция абсолютного властвования, пишет Редлих, могла сложиться только в результате превращения марксизма в догматическое учение; и первым шагом к этому превращению стала формула Ленина: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Думается, что дело тут не только в Ленине, дело в философской традиции, которой следовал Маркс, — в традиции классического рационализма, исходившего из догматически принятой посылки адекватности нашего познания. Раз сам Маркс прошел мимо Канта, то ученик его Ленин тем более был вправе трактовать его презрительно как «агностика» и «фидеиста». Известно высказывание Маркса о гегельянстве как синтезе Спинозизма (опосредствованного, в этой формуле, Шеллингом) и фихтеанства. Речь шла о гегелевском понятии «субстанция-субъект», но эта же характеристика вполне применима к самому марксизму, ибо от

перемены мест слагаемых (голова и ноги) сумма не меняется. Руководствуясь этой формулой, можно было рассматривать мир как объект тотального действия, т. е., как передает Редлих это верование марксизма, человек, владеющий правильной, *научной* теорией, способен управлять миром. Здесь марксизм находил разрешение противоречия между детерминизмом и волюнтаризмом. Для концепции абсолютного властвования, пишет Редлих, пригодились три черты марксизма:

1) отношение к миру как к конечному (т. е. в принципе познаваемому и управляемому конечным количеством законов, *лишенному тайны*), детерминированному бытию;

2) отношение к человеку как явлению того же порядка;

3) отношение к сознанию как «надстройке», онтологически не реальному плану бытия. Но ведь этих его черт, хочется добавить, — даже и без ленинских новаций, — вполне достаточно для построения концепции абсолютного властвования, особенно если учесть установку на практику (действие), бывшую чертой самого классического марксизма, а не какого-то там подозрительного «ленинизма».

«Утверждение непогрешимости марксизма есть важнейшее из новшеств, внесенных Лениным в коммунистическую теорию»³, — пишет Р. Н. Редлих. Да, правильно, Ленин (именно он, а не Сталин, как хотелось бы многим) сделал из марксизма догму, но ведь сам марксизм сделал догму — из науки. Что тут «первично» и что «вторично» — что важнее для указанной концепции? Мотив идеократический — одна из основ коммунистического тоталитаризма — звучит уже у Маркса и Энгельса как вывод из посылки классического рационализма: порядок и связь вещей те же, что порядок и связь идей.

Поэтому мне представляется не совсем точным, когда Редлих говорит, что сам марксизм не повинен в его догматическом извращении, или когда он утверждает, что совместное исповедание марксизма не мешает «резкой грани» между большевизмом и социал-демократией. Последняя неточность легко исправима: это — формулировка 1949 г., когда впервые увидели свет «Очерки большевизмоведения» (ротаторное издание); мы знаем, что с тех пор положение изменилось, и по крайней мере европейская социал-демократия полностью отказалась от марксизма; что же касается до социал-демократии не европейской, а, допустим, латиноамериканской, то опыт ее власти (Чили) сильно сблизил ее с большевизмом, поставив ее на путь осуществления всякого рода фикций. Не будет же Редлих спорить с тем, что правительство Альенде покатилося по наклонной большевистского пути, например, разрушив первым делом экономику страны; логика такого пути (если только можно назвать путем падение в бездну) должна была привести к насилию как способу реализации нежизненных и противожизненных проектов: переворот Пиночета лишь упредил грядущий прокоммунистический переворот сторонников марксизма в Чили.

Автору, на мой взгляд, следует еще раз обдумать одно свое высказывание:

«Разделяя марксистскую теорию, человек не может поверить в сталинскую догматику. Веруя в коммунистические догматы, человек не может быть настоящим марксистом»⁴.

Эти две фразы — главная неточность на две книги. Действительно, абстрактное рядоположение страницы «Капитала» и протокольного листка НКВД вызывает впечатление несовместимых миров. Между ними, однако, существует связь: большевистская революция. Еще раз: марксистскую теорию и сталинскую практику сближает абсолютный утопизм основной

установки; этот утопизм — некритическая вера в науку, в подлинную и окончательную реальность создаваемой ею картины мира. Здесь, в этой формальной черте марксизма, а не в частностях его содержания, не в учении о динамике социально-экономических систем — нерв марксизма. Считать Сталина не марксистом на том основании, что он решился строить социализм в крестьянской стране, — нельзя. Он марксист прежде всего потому, что руководился научным мифом. Это словосочетание — отнюдь не противоречиво, и это подтвердят те, кто, не в пример Марксу, внимательно вчитывался в Канта. Маркузе предлагает сейчас повернуть марксизм, как революционную теорию, от науки к утопии. На это можно сказать: он всегда был утопией. Бердяев говорил, что парадоксия утопий — в их осуществимости. Да, но они осуществляются — насильем.

Скажем так: *исторически* концепция и практика абсолютного властвования сложились в сталинизме, но *логически* они присутствовали в классическом марксизме.

Вера в науку как в универсальную модель знания (теория) и как в рычаг, способный перевернуть мир (практика), как будто делает марксизм философией специально для профессоров. Увы, это не так. Конечно, в ИКП в 1977 г. больше профессоров, чем в РКП в 1917 г. (историки Покровский и Рожков да два простодушных немца — Фриче и Рейснер; счастье их, что умерли вовремя: все были посмертно дезавуированы), но ученые люди, однако, были: Бухарин, Рязанов; да и Троцкий знал грамоте. Никто из них не удержался у власти, и если б только в этом была их жизненная неудача... Анализ этого явления — краха и уничтожения первоначального ядра партии-победительницы — одно из сильнейших мест первой книги Редлиха. Марксистская партия, придя к власти, обнаруживает, что вся ее теоретическая система — миф, не отражающий

никакой реальности. Удержание власти, вопреки интересам и действительному течению дел в стране, требует постоянного усилия (и насилия). У людей, понимающих, в чем дело, — а профессора в конце концов начинают это понимать, — возникает в сознании моральный конфликт: сто́ит ли доктрина того, чтобы приносить ей в жертву живую жизнь? Люди, говорящие: да, сто́ит, — удерживаются у власти. Прочие погибают.

«Если пророчества Маркса и Энгельса не сбываются сами собой, то надо сделать, чтобы они сбывались. Если и это невозможно сделать, то (а диалектика на что же?) необходимо признать, что они сбылись»⁵.

Это — уже потом, когда Сталин окончательно укрепится у власти. Не только позднейшая власть создавала фикции, но сам фикционализм помогал до нее добраться. Что лучше: уйти или остаться? Что важнее: власть или правда? Оказалось, что властью пожертвовать труднее, чем правдой. (Наивец — или сам сатана? — Петр Ткачев, первый из русских революционеров обративший внимание на феномен власти, говорил, что власть революционеров тем отличается от всякой иной, что они не будут за нее цепляться, ибо служение народу создает из революционера новый, высший тип бескорыстного политика.) Троцкий предложил своеобразный компромисс: и правду провозгласить, и власть сохранить, т. е. стать на путь открытого исповедания зла, сознательно выбранного насилия — отбросить все иллюзии «народного» правительства, «пролетарской» власти. В этом была только *кажущаяся сила и реальная слабость*, «ибо откровенное зло в жизненной борьбе всегда оказывается слабее зла лицемерного»⁶. Троцкий был идеалист — идеалист зла, его эстет и художник. Его цинизм был игровой, а не всамделишный. Прикрывшись

фикциями, Сталин утвердился у власти и осуществил программу Троцкого.

С этих пор пребывание большевиков у власти почти на сто процентов теряет смысл как служение — народу, или теоретической программе, или чему-нибудь еще. Власть становится самодовлеющей ценностью. Мы говорим — *почти* на сто процентов, потому что какая-то бесконечно уменьшающаяся, но не могущая исчезнуть дробь процента мешает им осознать — не говоря уже о том, чтобы высказать, — правду о себе. Именно это обстоятельство имеет в виду Редлих, когда говорит, что иллюзорный мир большевизма пленяет и правящую верхушку, большевистский обман оборачивается в какой-то мере самообманом. Один из парадоксов коммунизма: сознание «нового класса» — бессознательно; по крайней мере оно открыто не формулируется, оставаясь эзотерическим знанием, тайной, круговой порукой заговорщиков. Нужно не стесняться еще и еще раз повторять, что лучше всего этот феномен может быть выражен в терминах психоанализа: большевистская идеология, теория и практика, большевистский миф — это невротический симптом, организованный прежде всего бессознательными силами, он строится на вытеснении и подавлении подлинной его природы — вражды к бытию, суицидных влечений. Но если даже большевики не ведают, что творят, и это их отчасти оправдывает, то способно ли такое допущение успокоить взволнованное человечество? Впрочем, человечество волнуется не тем, что его судьба — в руках дементных мифотворцев, а тем, что одного из них прибрал к рукам Пиночет.

Как бы там ни было, с момента укрепления у власти начинается главное: подлинный марксизм. Ведь главный его философский мотив — в утверждении истины как состояния бытия, а не сознания. В полном соответствии с марксизмом теория отмирает,

или, как говорит Редлих, превращается в целесообразную фикцию. Начинается *практика*.

Несомненно, худую услугу оказал итальянским коммунистам их безвременно усопший вождь. Сдается, что он понимал марксизм еще лучше Ленина и Троцкого, а такое понимание не идет ему (марксизму) на пользу, даже если интерпретатор и комментатор — сам марксист. В «Тюремных тетрадах» Грамши есть одно изумительное место, которое нынешние итальянские марксисты должны были бы, в соответствии с методологией, описанной Орвеллом, объявить никогда не существовавшим: вклад «Ильича» в теорию, говорит Грамши, — в организации аппарата власти; и это совершенно верно с точки зрения самого что ни на есть ортодоксального марксизма. Вспомните Энгельса: немецкий рабочий класс — наследник немецкой классической философии. Ну а дальше всё объяснил «Ильич»: у класса есть партия, а у партии есть вожди. Интеллектуальная честность Грамши вся покоится на этом очень простеньком силлогизме. Но доживи Грамши до победы собственной партии, он у власти, как и Троцкий, не удержался бы; думаю, что потащил бы вслед за собой в своем падении и профессора Пачини, именно по причине, вскрытой Редлихом: откровенное зло в жизненной борьбе побеждается злом лицемерным.

Леопольд Лабедз в «Континенте» № 4 блестяще спародировал одно старое высказывание: в наши дни, сказал он, лицемерие — это дань, которую революция платит либерализму.

Уже из сказанного читателю этой рецензии (хотелось бы — рецензируемых книг) ясно, с каким богатством теоретического содержания встречаемся мы в работах Редлиха. А ведь речь шла пока только о темах, затронутых в первой главе первой книги! Мы говорили пока о философемах марксизма; но центр тяжести книг Редлиха не в этом, это не философские,

а скорее социологические исследования. Не метафизика коммунизма интересует автора в первую очередь, а следующие из нее механизмы его социального функционирования. В этом смысле книги Редлиха действительно не о марксизме, а о «сталинщине» и «советском обществе»; не о теории марксизма, а о его практике; о создаваемом им мире.

Я не буду столь же подробно анализировать следующие разделы и темы книг Редлиха, потому что не хочу этой рецензией подменять их (к счастью, это и невозможно). Остановлюсь только на трех темах:

1. Мир мифов и фикций. Что это такое?

Это, собственно, и есть пресловутый «советский образ жизни» — тот, который в современном СССР уходит в прошлое, но имеет на Западе неплохие виды на будущее. Это — идеократия в действии. *Никакая* теория не может охватить мир до конца; тем более никакая теория не может подменить собой бытие; никакая, кроме марксистской. «Абсолютное властвование» в плане материальном — вещь нехитрая, здесь достаточно просто «материальной силы»; но «идея, ставшая материальной силой», призвана господствовать не только над телами, но и, само собой разумеется, над душами. Марксизм-сталинизм, однако, не властен над духовной реальностью, он может господствовать только в вымышленном, искусственном мире. Природа духовной жизни такова, что ее нельзя подавить в грубо материальном смысле, ее можно только извратить или подменить. Это извращение и подмена и есть мир мифов и фикций. Отличие первых от вторых то, что мифы пользуются в определенной степени доверием народа, а может быть, даже и вождей; вторые — чистая выдумка, необходимая не как фактическая достоверность, а как рычаг управления. Пример: существует (до сих пор!) *миф* об эволюции советской системы в сторону либерализации и демократизации (Редлих показывает, что сама власть насаж-

дает этот миф — в целях экспорта; но на «внутреннем рынке» за него же преследуют легковверных); и существует *фикция* трудового энтузиазма: никто в него не верит, но какую-то реальную пользу для власти он приносит, какие-то субботники в пользу Вьетнама и Уганды на этом самом энтузиазме организуются. Исследование гнусного семейства этих мифов и фикций, «диалектики» их змеинных склещений и даже их эволюции — новаторская разработка в советологии. Крайне важно подчеркнуть, что здесь мы имеем дело не с описанием каких-то банальных, грубо эмпирических реальностей, но с открытием этих реальностей, ставшим возможным в результате применения оригинальной методологии; суть этой методологии — в допущении того, что *советское общество, советская жизнь построены на лжи*. Всё становится ясным в этой жизни, как только мы станем на указанную точку зрения; но дело как раз в том, что западному исследователю — или просто читателю советских книг — на нее стать трудно, они уже попали в расставленную системой мифов и фикций сеть. Повторяю: понимание советской (автор предпочитает говорить «подсоветской») действительности как тотального обмана не есть априорно вынесенная оценка, предубеждение антисоветчика, это «фундаментальная методологическая предпосылка» для любого исследования СССР, нейтральный, безоценочный научный прием, без него просто ничего нельзя в этом самом СССР увидеть.

«Разрыв между советской действительностью и официальным описанием ее очевиден из сравнительного рассмотрения любых источников»⁶, — пишет Редлих.

То, что в конечном итоге метод исследования, в соответствии с самым чистым гегельянством, совпадает с его предметом, — так сказать, нечаянная заслуга автора.

И еще раз не лишне повторить: сталинская практика — простое следствие Марксовой теории: уже сама теория была мифом; ее реализация выявила эту ее суть. Иначе — зачем же насилие?

Еврокоммунист, возражая, выложит тут свой козырный туз: марксистская доктрина переродилась в прямое насилие над жизнью потому, что в России не было достаточных предпосылок для социализма, он осуществлялся здесь не по Марксу, а против Маркса; другое дело — развитая и созревшая Европа. Короче говоря, весь разговор опять сведется к хорошему марксизму и плохой России. Правда, еврокоммунист не замечает, что при этом ему нужно отказаться не только от Сталина, что он охотно делает, но и от Ленина; и действительно, о таком отказе мы что-то не слышали. Но дело и не в Ленине — пусть берут его себе. Дело в том, что еврокоммунизму, приди он к власти, придется столкнуться даже и не с какой-нибудь устрашающей пятикладной экономикой, а просто-напросто с *реальностью*. На такие столкновения марксизм не рассчитан. Фантастична сама его концепция бытия, его онтология. В Италии, например, он встретится с ситуацией, никак не предусмотренной теорией: ну-ка, что будут делать итальянские коммунисты с католицизмом? Самый последний простак в СССР ответит на этот вопрос: они его будут планомерно уничтожать. В мире, сконструированном марксистской теорией, не должно быть Бога. Вот вам и повод для насилия.

2. Проблема эволюции советского режима. Это — тема второй книги, «Советское общество». Книга эта не столь ярка, как первая, по понятной причине: тёмн сам ее предмет. Классическое советское общество — сталинизм — ушло в прошлое. Встает вопрос о возможности будущего для системы, о ее перспективах и альтернативах.

Редлих показывает, что перспектив для эволюции сталинизма, социалистической альтернативы для него — нет. Для него нет также и демократической альтернативы. Альтернатива только такова: или ликвидация с заменой демократическим строем, или реставрация сталинщины. Сегодняшний консерватизм правящей верхушки — не стратегия, а тактика, тактика глухой обороны. Парадокс послесталинского периода, по определению Редлиха, — в попытке сохранить абсолютную власть без абсолютного властителя. Это противоречие в определении. «Новый класс», утвердившийся у власти, по мнению автора, только после Сталина, обеспечил свою безопасность от террористического угнетения со стороны вождя, но выяснилось, что самосохранение осталось, так сказать, единственным его достижением: он не может по-новому управлять страной — вне традиции сталинского фикционализма, вне условий активной несвободы (одно из важнейших понятий, введенных автором; — «Такое состояние, при котором мысли, желания и чувства человека перестают играть какую бы то ни было роль в его поведении»). Ныне господствующий класс партбюрократии захотел избавиться от этого состояния сам, оставив в нем всё остальное население страны; но оказалось, что несвобода так же неделима, как и свобода. Мир мифов и фикций дал трещину, в которую проникла реальность. Загнать ее снова в подполье — а в Советском Союзе загнана в подполье именно реальность, а не «оппозиция» — можно только с помощью нового террора. На это вожди пока не решаются, зная, что процесс этот — неуправляемый. Не решаются они и на демократические реформы, — это означало бы самоликвидацию режима. Сегодняшняя ситуация — беспрограммная реакция, оппортунистический консерватизм; это, повторяем, не стратегия, а тактика — чисто пассивная, приспособительная реакция; направление общественной жизни сегодня активно опреде-

ляется не правящими кругами. Поэтому внешний импобилизм брежневского режима не должен никого обманывать: страна стоит на пороге больших перемен. Такими словами заканчивается вторая книга Редлиха.

Представляет большой интерес следующая его мысль: политика, определенная интересом какой-либо группы, не может стать политикой абсолютного властвования и абсолютного насилия, — власть ограничена прежде всего этой самой группой, становясь, таким образом, не целью, а средством. Из этого наблюдения Редлих, собственно, и делает все свои выводы о тупиках сегодняшнего коммунизма. Получается, что сталинизм держался только потому, что *не имел социальной базы*, — ее заменяла чисто политическая опора («активисты»), рекрутируемая во всех общественных слоях. Классическое советское общество — не плюральное, оно атомарно, человек в нем в одиночку противостоит режиму. Получается, далее, что собирание общественных сил, самая элементарная стратификация общества способствуют гибели режима, т. е. марксистский режим враждебен самой идее общественности, это абсолютно антисоциальное явление. Процесс сегодняшней общественной жизни в СССР, по Редлиху, это прежде всего процесс нового собирания и самосознания общественных групп. Особенно значим факт появления таких настроений, такого сознания в среде интеллигенции, бывшей по традиции начисто лишенной (в громадной своей части) именно *самосознания*: интеллигенция наконец-то распрощалась — или прощается — с идеей «служения народу» как единственной своей целью*. Более того: такая ситуация подводит к необходимости пересмотреть и, может быть, переоценить сам объект этого

* Самосознание и самоутверждение — в не совсем адекватных формах — происходили до революции только в очень узкой среде художественной элиты.

традиционного служения. Отказавшись от предрассудка о национально-русской специфике коммунизма, не следует ли поставить и другой, более интересный вопрос: оправдывает ли новейший русский опыт традиционные мессианистские претензии русского сознания? Это третий и последний вопрос, которого я коснусь в связи с книгами Редлиха.

Заключительная часть «Сталинщины» так и называется: «Советский человек». Очень важные изменения внесла новейшая история в миф о народе-богоносце, она даже изменила его имя. Дело, однако, не только в перемене имени, эта перемена лишь внешне выражает глубокие изменения, существеннейшие мутации, которые претерпел русский национальный тип. Мне кажется, что соображения Редлиха по этому предмету должны быть дополнены.

Я абстрагируюсь сейчас от славянофильства и западничества и не хочу прибегать к оценкам; речь идет только об описании типа советского человека (которого я сейчас беру как бывшего русского, сознательно элиминируя привходящие национальные проблемы). Это не миф (каким был мужик Марей) и даже не методологическая абстракция на манер «economic man» Адама Смита, это самая настоящая реальность. На мой взгляд, Редлих не совсем адекватно ее описывает. Он остается в плену старой традиции, по-прежнему утверждая высокие моральные качества или даже иной, высший душевный состав советского человека в сравнении с типом человека буржуазного мира. Можно много спорить о том, существует ли этот буржуазный мир на Западе; но если он где-то бесспорно существует как чаемый тип социального бытия и место ценностей, — то в мечтах *советского* человека. Конвергенция, хотим мы ее или не хотим, действительно идет; но идет она в советском обществе не на государственно-правительственном, а на приватно-гражданском уровне. Потребительское общество не стало со-

ветской реальностью, но зато тем более оно сумело стать советским идеалом. Конечно, этот идеал проник в сознание советских людей с помощью марксистской идеологии, во внешней, эзотерической своей части провозглашавшей цели коллективного эвдемонизма (вспомним, что Бердяев называл социализм «истиной буржуазности»). Здесь не место говорить о том, почему марксистский социализм не смог или не захотел реализовать свою же программу, почему эти материалисты ликвидировали материю; достаточно установить не вызывающий сомнений факт, что потребительский идеал способствовал если не материальному, то духовному обуржуазиванию громадной массы советского населения. Когда Редлих говорит, что тяготение советского человека к материальному достатку — форма утверждения им своего человеческого достоинства, с ним можно согласиться лишь условно: это — факт отрадный и перспективный не в моральном смысле, как считает Редлих, а в социальном: индивидуалист-собственник скорее способен покончить с советским режимом, чем идеалист-коллективист. Конечно, ни в коем случае нельзя переоценивать его способность к активным действиям, но важно то, что он не окажет режиму *никакой* поддержки в момент его кризиса. Козьму Минина из себя этот слой не выделит, хотя он и сильно интересуется торговлей. Безотносительно к оценке, этот слой — антикоммунистический резерв, и его нельзя отталкивать. И факты налицо: бесспорное индивидуалистическое перерождение души советского человека; миф о совместном, всем миром добывании благ, вопреки утверждению Редлиха, более им, советским человеком, не владеет.

Теперь — об оценках. Худо это или хорошо? Лично я думаю, что эта перемена — во благо. История иронична, как поведал нам Гегель. Может быть, вся эта коммунистическая свистопляска происходила толь-

ко для того, чтобы утвердить в сознании русского (ныне советского) человека *подлинные* буржуазные ценности. Важнейшая из них — сознание индивидуальных прав; не будет ли излишним ригоризмом сетовать на то, что это сознание входит в советский мир через сугубо материальный, экономический интерес?

Помянутый Гегель говорил, что частная собственность — это абстрактная форма индивидуальной свободы. (Вот адекватный «экономический материализм»!) Я согласен с теми историками, которые видят в П. А. Столыпине великого государственного деятеля. Мне кажется, что утрата житейского идеализма — не очень дорогая цена за избавление от коммунистической деспотии; в конце концов всё различие славянофильства и западничества можно свести к следующему выбору: что ценнее — соблюсти невинность или, утратив ее, приобрести некоторый жизненный опыт? Прибегая к терминам Ф. А. Степуна, скажу, что «ценности объективированные» следует предпочесть «ценностям состояния» — конечно, только в этом, худшем из миров. Мир социальный — именно таков.

Сам Редлих в последней главе раздела «Советский человек» говорит о «мещанстве Запада» (старая добрая русская терминология) как наметившемся советском идеале. Дело даже не в отдельных его мнениях: не кто иной как Редлих одну из интереснейших частей книги «Советское общество» посвятил экономическому подполью, «поправочной экономике» в СССР. Этот феномен впервые стал объектом теоретического рассмотрения. Факт, описанный и объясненный Редлихом, говорит сам за себя: он свидетельствует не только об экономическом бессилии режима, но и способности общества позитивно противостоять ему; другими словами, это свидетельство — в пользу буржуазных потенциалов советского общества, ибо хозяйствование, как мы наконец-то поняли, и есть дело преимущественно буржуазное. В этом смысле буржуазность

— не преходящий социальный строй, а один из аспектов бытия, одна из онтологических реальностей.

Я, однако, пишу всё это не то что в сознании своей неправоты (в этом случае никто писать и не возьмется), а с осязаемым чувством некоего бессилия. Как всегда, мы решаем «без хозяина». Хозяин этот, увы, не русский и даже не советский человек, а те же большевики. Нужно признать, что из создавшегося положения они нашли оптимальный (конечно, для себя, а не для страны) выход. Мне думается, что они в последнее время сумели даже не то что найти, а создать для себя предельно широкую социальную базу. Они опираются сейчас не на какую-либо группу, а на весь народ. *Они сумели выработать в нем паразитическое отношение к жизни.* Ситуация, в которую попал советский человек — его обобществление, абсолютное отчуждение, — лишила его подлинного интереса к жизни, стремления к труду, самостоятельной работе. Труд в СССР — еще одна фикция, не описанная Редлихом. Все знают, что с падением системы условий для такого отношения к жизни не станет. Поэтому все держатся за так называемую советскую власть в оправданной надежде эту ситуацию сохранить. Все привыкли к легкой жизни: мало дается, но почти ничего и не спрашивается. В этом, а не в изжитом терроре заключена сейчас сила режима.

Ни в коем случае не следует думать, что я имею в виду упомянутое экономическое подполье. Редлих показал, что его существование — не вред, а благо — как для советских людей, так и для государства; там не «воруют», а ведут серьезную позитивную работу. Речь идет о другом: режим развратил советского человека, отучил его работать — и этим держится. Советский человек утратил даже и не квалификацию, а *качество*. Всем нам — советским, антисоветским или даже экс-советским — прекрасно известно, что в СССР никто ничего не делает. Фикцией стали такие вполне

реальные понятия, как рабочий, крестьянин, инженер, врач. Дошло до того, что в «пролетарском государстве» серьезнейшей проблемой стала подготовка рабочих кадров: никто не хочет *всерьез* стоять у станка. Следует ли посыпать раны солью — вспоминать о советском сельском хозяйстве? Десятки миллионов советских людей на следующий день после падения советской власти будут вынуждены идти на улицу за подаванием. И это не только люди, напрямую связанные с режимом — какие-нибудь труженики профсоюзных канцелярий или доценты марксистско-ленинской философии, а почти все. Инженером в СССР можно назвать разве что доктора технических наук. Врачебный экзамен в США выдерживает один советский врач на тысячу. И у кого повернется язык назвать писателем — члена ССП? Работают по-настоящему семь праведников — и то на войну.

Но самосохранение такой системы означает в то же время ее самоуничтожение — за счет уничтожения базы национального богатства. Прямым путем коммунизм ведет страну к национальной гибели. Это — важнейшая из перспектив советского общества.

Указанные здесь неточности книг Редлиха в части, касающейся современного советского общества, проистекают явно из-за оторванности автора от самого последнего советского опыта, но они ни в коем случае не делают эти книги устаревшими. Эти книги по-прежнему актуальны, ибо в нашем мире, к сожалению, актуальной остается их тема — коммунизм, а значит актуальным и необходимым будет знать правду о нем. Книги Редлиха делают важнейшее сегодняшнее дело — говорят эту правду. Они не устарели, потому что существенно не изменился их предмет.

В России коммунизм явно идет на убыль. В Европе он молодится и прихорашивается. Книги Редлиха нужно издать на европейских языках; нужно это не автору, а этим самым европейским языкам.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Сталинщина как духовный феномен. Стр. 31.
- ² «Континент» № 5, Джанлоренцо Пачини, стр. 457.
- ³ Сталинщина как духовный феномен. Стр. 33.
- ⁴ Там же. Стр. 36.
- ⁵ Там же. Стр. 39.
- ⁶ Там же. Стр. 11.

ДНЕВНИКИ БУНИНЫХ

Широкую известность приобрели дневники писателей, литературно-общественных и политических деятелей — «Опавшие листья» Розанова, дневники Толстого, Никитенко, братьев Гонкур, Жюль Ренара и других. «Дневник, — писал Бунин, — одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие» (запись от 23. 2. 16). И надо сказать, что многие страницы рецензируемого тома (особенно пейзажные зарисовки) выдерживают сравнение с лучшими образцами бунинского наследия.

Подготавливая к печати обширный архивный материал, доставшийся ей после смерти Л. Зурова, Милица Грин разбила его на четыре части (три тома): первые две, вошедшие в рассматриваемый том, охватывают жизнь Буниных до вызванного октябрьским переворотом отъезда на юг («До перелома») и одесский период — до отъезда за границу («Одесса»).

Первая часть содержит немало интересных записей — пейзажных зарисовок, наблюдений, размышлений, — касающихся поездки в Турцию, на Цейлон, в Палестину; собственной и чужой творческой работы; отдельных лиц из бунинского окружения; деревни; народа и интеллигентов, которые «понятия не имеют (да и не хотят иметь) о нем» (запись от 21. 3. 16); событий 1905 года и, в частности, еврейских погромов на юге России... Однако наибольшую историко-литературную ценность представляет собою вторая, «одесская» часть, помогающая лучше понять события тех дней, а также облик и позицию Бунина.

Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы, под редакцией Милицы Грин. В трех томах. Том I. Посев, 1977.

При чтении ее отчетливо видишь его гордую непримиримость, неуступчивость, бескомпромиссность по отношению к новой власти, органическую неспособность найти с ней общий язык. Видишь неприемлемость этой власти для него не только политически, идейно, духовно, но и, так сказать, эстетически, на что справедливо обратила внимание в своем предисловии Милица Грин. Зная Бунина, не удивляешься, что его до боли сердечной коробили внешние проявления, атрибуты новой власти, ее символика, язык плакатов, газет, ораторов, учреждений, а не только хамство и грубость толпы, насилия, жестокость и ложь...

Большинство записей второй части принадлежит Вере Николаевне. Наблюдательностью, пластичностью, психологической точностью они во многом напоминают бунинские, а подробностями, деталями их превосходят. Есть и еще одна привлекательная черта в записях Веры Николаевны, черта, на которую также справедливо указывает Милица Грин: это — «доброжелательность, способность увидеть хорошее в людях», чего в те тяжкие, «окаянные дни» нередко не хватало Бунину, душу которого буквально испепеляла ярость...

Во второй части перед нами проходит вереница известных, малоизвестных и вовсе неведомых людей — от поэта Волошина и академиков Овсяннико-Куликовского и Кондакова, до безымянных чекистов. Вместе с Буниными мы присутствуем при обысках, прислушиваемся к звукам ночных выстрелов, испытываем голод и холод. Мы видим, как на глазах, приспособляясь к очередной смене властей, перекрашиваются люди: «Уже острят: «Что ты делаешь?» — «Сохну, только что перекрасился» (стр. 235). В этой связи мы немало любопытного узнаем, к примеру, о молодом В. Катаеве (впоследствии описавшем тот же период и, в частности, чету Буниных, в «Траве забвения»), который приносил на суд Бунину свои первые литературные опыты, и о многих других, кого судьба столкнула с Буниными на одесском перепутье 1918-1920 годов...

Второй и третий тома «Дневников» (охватывающие период эмиграции) еще впереди, но уже сейчас можно их охарактеризовать как значительный вклад в Буниниану, обогатившуюся за последние годы рядом ценных публикаций, включая специальные выпуски «Литературного наследства».

Тем не менее хотелось бы указать на ряд погрешностей рецензируемого издания.

В соответствии с замыслом редактора-составителя, в нем дневниковые записи перемежаются комментирующими и дополняющими «связками» мемуарно-биографического характера.

Однако, несмотря на оговоренный в предисловии принцип отбора и подачи материала, недавнему подсоветскому читателю многочисленные отточия и квадратные скобки невольно напоминают о «фигурах умолчания», о произвольных цезурах, широко практикуемых в советском литературоведении. Оставляет желать лучшего и научный аппарат книги. Отмечая хороший именной указатель, нельзя не указать одновременно и на недостатки примечаний к книге. Вряд ли читателю помогут примечания типа: «писатель», «знаменитая артистка», «военный министр в начале войны» и т. п. Во-первых, в таких случаях принято указывать даты жизни; во-вторых, уточнять характеристику комментируемых лиц. Так, читателю было бы полезно узнать, что М. С. Цетлин, например, стал одним из основателей, наряду с М. А. Алдановым (о котором сказано лишь, что его настоящее имя М. А. Ландау), «Нового журнала»...

Иной раз дается более расширенная характеристика того или иного лица, но она порой грешит неточностью или в ней опущено главное. Так, о Савинкове говорится, что он «помощник министра в правительстве Керенского» (какого министра?) и член партии «социал-революционеров» (?!), хотя существовала должность «*товарища* министра» (и Б. В. Савинков был сначала товарищем военного министра, а потом одним из последних военных министров в указанном правительстве), а партия эсеров называлась партией *социалистов-революционеров*, и Савинков был одним из ее лидеров... Точно так же неточно охарактеризован В. Л. Бурцев. Он, конечно, был не «политический деятель», а журналист, историк освободительного движения, один из редакторов журнала «Былое». А вот о П. Н. Милюкове как раз следовало бы сказать, что он был политическим деятелем, министром иностранных дел в первом составе Временного правительства, а также видным публицистом и историком.

В короткой рецензии придется ограничиться этими замечаниями. Укажем лишь в заключение на две досадные текстологические ошибки: на стр. 308 южноукраинский город Купянск назван Кунянском, а на стр. 262 знаменитая балерина (Екатерина) Гельцер (бесспорно, именно она упоминается в контексте рядом с именами Неждановой, Южина, Качалова) наречена Гельнер.

В. Володин

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ НА ОТЗЫВ

Андреев Вадим. На рубеже. 1925—1976. Париж — Нью-Йорк — Женева. YMCA-PRESS, Париж, 1977. Стр. 105.

Балакшин Петр. Свет пламени. Книгоизд-во СИРИУС. Сан-Франциско — Нью-Йорк — Париж — Торонто, 1977. Стр. 336.

Вольное слово. Самиздат. Избранное. Выпуск 27. «Как вести себя на обыске» и другие документы 1976 года. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1977. Стр. 143.

Галич А. Когда я вернусь. Стихи и песни 1972—1977. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1977. Стр. 124.

Горлов А. М. Случай на даче. YMCA-PRESS, Париж, 1977. Стр. 201.

Коряков Михаил. Живая история 1917—1975. ECHO PRESS, Мюнхен, 1977. Стр. 510.

Лик Пушкина. Речи, читанные на торжественном заседании Богословского института в Париже. Второе издание. YMCA-PRESS, Париж, 1977. Стр. 48.

Международное Слушание Сахарова в Копенгагене. Издана книга «Комитетом Слушания Сахарова», Копенгаген, 1977. Стр. 430.

Перекрестки. Альманах. 1. Изд-во «Перекрестки», Филадельфия, 1977. Стр. 64.

Ремизов Алексей. Огонь вещей. Сны и предсонье. Гоголь. Пушкин. Лермонтов. Тургенев. Достоевский. Второе издание. YMCA-PRESS, Париж, 1977. Стр. 224.

Самарин Владимир. Теплый мрамор. Рассказы. Нью-Йорк, 1976. Стр. 75.

Странник. Поэма о русской любви. Париж, 1977. Стр. 99.

**Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н. Б. Тарасова**

Адрес редакции журнала «Грани»:
**Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt/M., 80**

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandaugow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени вышло уже три сборника «Граней»:

- Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94;
- Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86;
- Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 48 н. м.
через магазины — 60 н. м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

В издательстве: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 75 н. м.
«Посев» (12) — 60 н.м.

Через магазины: «Посев» (12)
и «Вольное слово» (4) — 90 н. м.
«Посев» (12) — 72 н. м.

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» и «Вольное слово» зона I — 24 н. м.
зона II — 36 н. м.
«Посев» зона I — 20 н. м.;
зона II — 30 н. м.

I зона — Северная Америка и Ближний Восток
II зона — Южная Америка и Дальний Восток

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«ГРАНИ» — 15 н. м. «ПОСЕВ» — 6 н. м.
«Вольное слово» — 6 н. м.

В США и КАНАДЕ, при теперешнем курсе доллара
около двух марок, следует цены, для определения их
в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.